

Вещь

1(13)/2016

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Вячеслав Запольских

Поэзия

Александр Самойлов

Елена Ионова

Эссе

Нина Горланова

Книгоиздание

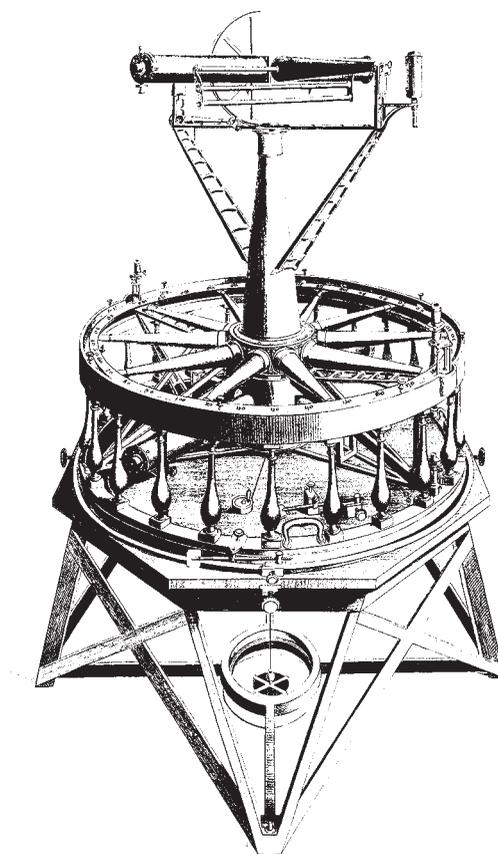
Зачем и кому нужна поэзия?



Вещь

1(13)/2016

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ



Содержание

- 3 **Александр Самойлов** *Ничего не болит (стихи из книги «Маршрут 91»)*
- 6 **Анатолий Субботин** *Велосипед (рассказ)*
- 15 **Ян Кунтур** *Эстергом. Три силуэта (поэма)*
- 21 **Любовь Соколова** *Зязелга (повесть)*
- 44 **Елена Ионова** *Бог, напяливший рога (стихи)*
- 47 **Вячеслав Запольских** *Любовь к ошибкам (фрагмент романа)*
- 74 **Д. М. Шурф** *Бальзам для проигравших (архив ОДЕКАЛа)*
- 82 **Борис Эренбург** *Батюшков (рассказ)*
- 88 **Нина Горланова** *Папа и старый князь Болконский (эссе)*
- 93 **Сергей Сигерсон** *Пермский акцент в имажинистском интернационале 1920-х годов (история литературы)*
- 104 **Руслан Комадей, Александр Петрушкин** *Зачем и кому нужны поэтические книги? (ответы книгоиздателей)*
- 106 **Нина Александрова, Сергей Сигерсон, Сергей Ивкин** *Обзор поэтических книг издательства «Полифем» и серии «Только для своих»*
- 120 **Руслан Комадей, Юлия Баталина, Юлия Подлубнова, Сергей Сигерсон, Ольга Роленгов** *О книгах Артема Носкова, Анны Бердичевской, Анатолия Субботина, Семена Ваксмана (рецензии)*
- 131 **Авторы номера**

Александр Самойлов

Ничего не болит



Школа

Много в Челябинске разных школ.
А ты учился в какой?
Я помню, я в школу одну пошёл,
но оказался в другой.

Была она словно скрещенье крыл,
словно последний срок.
Там всех, кто без сменной обуви был,
с размаху били в висок.

И только когда уходил генсек
разутый на небеса,
в школе горел сиреневый свет
двадцать четыре часа.

И этот свет во мне не погас
ещё, и когда я за
угол зайду в неположенный час,
он бьёт меня по глазам.

Соцзащита

Аптечка и огнетушитель
от боли спасут и огня.
Аптечка и огнетушитель
тихонько поют про меня.

Обычных вещей повелитель,
в какой бы ты ни был беде,
аптечка и огнетушитель
находятся сам знаешь где.

КБС

Едешь по этому Ленинскому, едешь
на девяносто первой.
Где-то в районе «Авроры» уже измотаны
нервы.
Где-то у КБСа уже оттопчут все ноги,
а тебе еще ехать и ехать, это лишь треть
дороги.
Сверху глядят ангелы — им все кажется
шуткой.
Развеселившись, начинают играть
в маршрутку.
— Не сытойте в дырках! — кричит один
что есть мочи.
— Где сдача с полтинника? — кричит
другой, и все хохочут.

Российская

Он подрабатывал приемщиком стеклотары.
Его сестра была знакома с Софией Ротару.
Он пил горькую ежедневно, мне говорил,
что лет восемь.
Он, наверное, всё ещё жив, если не бросил.
Он сидел на берегу, окуроч в траве
дымился.
Вот там, говорил он мне, я в детстве под лед
провалился.
Помню, бежит ко мне бабушка и добежать
не может,
а я смеюсь и кричу: «Не беги! Провалишься
тоже».

Островского

Бегала, а не ходила,
молча — ничего!
А как смерть — заголосила:
Жалко мне его!

То ли вправду, то ли мнится:
рядышком стоят

две родимые сестрицы
и любимый брат.

Говорят: «Скажи нам, кто же
у тебя в уму?
Мы поможем, мы поможем,
ты скажи, кому».

Сгинул муж в семьдесят третьем,
в перестройку — сын.
А других на этом свете
мы не разглядим.

Только мечется и бьётся:
Жалко, жалко мне!
Зайчик солнечный смеётся
на пустой стене.

Краснознамённая

А у нас новость: отключили горячую воду.
Я пишу эти строки, сидя в корыте.
Ты хотела, чтобы я изменил свою природу,
но ты и была моей природой, так что
прости. Те,

которые напротив смежают вежды,
не попросят их поднять даже от скуки,
поэтому нет никакой надежды
на то, что это письмо попадет не в те руки.

Красного Урала

На Красного Урала,
на Красного Урала
ты деньги в долг давала
под два процента в день.

Сидела в красной будке,
смотрела на маршрутки,
за сутками шли сутки
под два процента в день.

И молодым, и старым,
с детьми и с перегаром

ты обещала кару
под два процента в день.

За эти два процента,
за мужа-импотента
прости её, френдлента,
ведь всё — такая хрень.

Победа

Забывтый пионерский лагерь
завален палюю листвою
по подоконники. Не флаги,
а трещины над головой.

Звезда ржавеет из железа,
скамья из дерева гниёт.
Здесь прежняя судьба исчезла,
а новую никто не ждёт.

Из-за какой такой холеры
здесь карантин, и нет назад
пути, и тени пионеров
в истёртых простынях стоят?

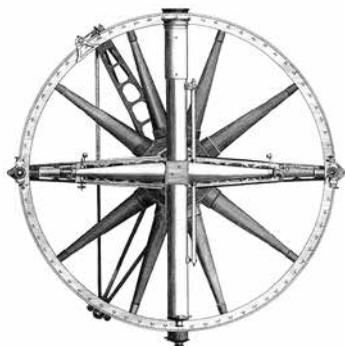
Поликлиника

Мы не сеем, не пашем.
Мы всегда в стороне.
Мы молчим о вчерашнем
и о завтрашнем дне.

Ни о чём не мечтаем.
Ничего не болит.
Всё, что мы потеряем,
нам не принадлежит.

Анатолий Субботин

Велосипед



Если бы двенадцатилетнего мальчика Ваню спросили, что такое счастье, он бы не задумываясь ответил: счастье — это когда у тебя есть велосипед. С блеском в глазах смотрел он на пацанов, гоняющих вокруг барака, где они жили, на двухколёсных красавцах. Конечно, его катали (на раме или на багажнике), ему давали прокатиться, но это было не то. Хотелось иметь с в о е г о, то есть постоянного, рогатого и поджарого друга.

И вот несчастное (с точки зрения Вани) детство кончилось. «Всё, Ванька, — сказал отец, — беру тебе с полочки велосипед. Это тебе подарок на день рождения, ну и вообще...» Слово «вообще» могло означать только одно: больше ты такого дорогого подарка не увидишь. Обычно дарили какую-нибудь мелочь, в лучшем случае — игру, но

чаще приятное с полезным, по их, родителей, мнению, сочтя, — что-нибудь из одежды или обуви или школьно-канцелярскую принадлежность. А тут велосипед! Вещь в хозяйстве почти бесполезная, причём стоящая половину зарплаты.

Накануне того знаменательного дня Ваня долго не мог уснуть, а в самый день не мог дожждаться вечера, когда отец вернётся с работы. Наконец с крыльца он увидел: идёт! Идёт и несёт! Тут же, на крыльце, отец и сын освободили велочасти от промасленной бумаги, протёрли их сухой тряпкой. Собралась барачная публика: в основном, конечно, пацаны, но были и девочки, и несколько взрослых дядек. Родитель прикрутил к раме вилку переднего колеса, затем сами колёса, седло, руль, крылья, багажник и, как последний штрих велокартины, звонок

с рычажком сбоку. Потянешь за рычажок, и он — дзынь-дзынь. Звук слабый и не пугающий, так что пешеход может не обратить на него внимания, но, с другой стороны, велосипед — не машина, сильно не сшибёт. Ах, да, мы забыли сказать о цепи: конечно, она была надета на звёздочки, малую и большую. Есть такие аккорды на семиструнной гитаре: звёздочка малая и звёздочка большая; прибавим к ним обратную лесенку — и любая песенка из дворового репертуара спета. Накачав колёса и защебив правую брючину деревянной бельевой прищепкой, отец сделал пробу, признаться, весьма неуклюжую: петляя, хотя ещё не выпил (между тем бутылка уже ждала его на столе; какая полочка без бутылки!), он проехал вокруг барака. «На, Ванька, — сказал он, неловко спешившись, — только осторожно: яйца не сотри». Пацаны засмеялись. Засмеялись по инерции, потому что не раз слышали эти слова и привыкли к подобному юмору. Замечание же отца основывалось на том, что велосипед был взрослый и явно Ване велик. Всё тут покупалось на вырост: ботинки — чтобы хватило года на два, костюм — на три, а пальто — и того больше. Впрочем, Ваня знал, что у него будет взрослый велосипед, более того, он хотел этого. Ничего, думал он, нынешнее лето проезжу на раме, а на следующее, глядишь, до седла dorасту. С умилением он смотрел на обрётённого большого друга, брюнета, по чёрной раме которого шла белая надпись «Урал». Обода и руль — под серебро, а седло и ручки руля потёмному коричневели. Встав левой ногой на педаль и оттолкнувшись, Ваня привычно перекинул правую через хребет железного коня. Каких-нибудь пару сантиметров не доставали ноги до педалей в их нижнем положении. И приходилось ёрзать. Со стороны это выглядело забавно. Но не менее забавным и неудобным был другой способ велокатания недорослей — под рамой, когда едешь, выгнув туловище на сторону, словно тебя скрючил паралич. Но разве придаёшь значение мелочам, когда есть главное — твой конь о двух колёсах, который не ржёт, овса не просит и так или иначе тебя везёт.

Солнце на спицах, синева над головой, ветер — нам в лица, обгоняем шар земной. Ну, шар не шар, а барак родной вокруг объедем. Стоит он двухэтажный и коричнево-чёрный, прокопчённый дымом угольным, увенчанный башенками кирпичных труб. Сейчас лето, и трубы не курятся, можно сказать, в отпуск они; но дай срок — и повалит из них дымина негроподобный, с крупными хлопьями сажи. От печи начнёт танцевать по комнате тепло, и ты заснёшь в субтропиках, а проснёшься в тундре, особенно если за окном ветродуй и за минус пятнадцать. И не захочется тебе высовывать нос из-под одеяла, но надо. Надо вставать, завтракать и идти в школу. Если выйдешь из подъезда, их два, но из какого ни выйдешь — непременно уткнёшься взглядом в ряд дощатых сараев. На каждую комнату (читай — квартиру) полагается сарай. А как же! Уголь и дрова, идущие на растопку, хранить где-то трэба? Кроме того, в хозяйстве не можно без хранимого здесь же инструмента, как то лопата, лом, топор, пила-ножовка и двуручная пила, шутиливо прозванная «Дружба-2», молоток и гвозди. Держали в сарае также велосипеды, мопеды и мотоциклы, а кое-кто — курей и поросят. На первый взгляд, это рискованно: пни ногой — доска в стенке отойдёт, залезай в проделанную брешь и бери что хошь. Но, надо признать, воровство было не в почёте. Жили бедно, но не воровали. Или почти не воровали. Мать, округлив глаза, не раз внушала Ване: «Никогда не бери чужого... Не смей брать чужого!» Что ты, мама, зачем мне чужое? У меня всё есть, вот даже велосипед. Я еду на нём вокруг барака, который стоит среди ему подобных, деревянных и почерневших, только малорослых, то есть одноэтажных. А два-три из них снаружи оштукатурены и побелены и притворяются каменными. Я еду мимо «забывающих козла» мужиков, мимо малышни, играющей в песочнице, мимо девочек примерно моего возраста (плюс-минус два года), с которыми пытаюсь держать себя нагло и высокомерно, но это получается плохо, так как на самом деле они сильно смущают меня. Особенно одна, соседка и одноклассница по имени

Таня. Чем же, чем же она его смущает? Да как вам сказать, всем своим обликом, что ли. Прежде всего, своим лицом. Да и фигура её кажется ему безупречной, несмотря на то что однажды, увидев её в окно, бегущую с ведром за водой на колонку, мать, улыбнувшись, заметила: «А Таня-то косолапенькая!» Ну и что? Что из того, если ноги немного колесом?! А нам нравятся колёса. Сейчас они проносят нас м и м о Тани, но настанет день, и мы ещё дёрнем её за косичку или толкнём как-нибудь, одним словом, сделаем ей больно, выражая тем самым, что глубоко к ней неравнодушны.

Пока мы катились вдоль одной стороны барака, на другой картина поменялась. Два мужика, дядя Боря и дядя Коля, решили померяться силой и, схватившись, покатались в пыли. Оборот — и дядя Боря уже сидит верхом на дяде Коле и, слегка придушив его, вопрошает: «Сдаёшься?» Глядеть на это весело и жутковато. Выходит, что взрослые вырастают только телом, а умом они остаются такими же, как мы, детьми и шалопаями. Вовка, неродной сын дяди Коли, жалеет отца, хоть и неродного, и так объясняет его поражение: «К о н е ч н о, дядя Боря сильнее, ведь он ест мясо, а мой отец — одну жареную картошку». Через некоторое время Вовка покажет Ване сеанс алхимии, покажет, как политуру из малярного средства можно превратить в средство алкогольное. Он будет лить её из бутылки на хлеб, освобожденный от корок. Пройдя сквозь этот фильтр, желтоватая и маслянистая жидкость станет явно жиже и прозрачнее. И всё же Ваня не рискнёт глотнуть её, хотя пробовать вино ему уже приходилось... Ещё венок — и представление даёт дядя Семён. С лестницы, ведущей на чердак, взобравшись до её половины, он держит речь, подражая Ленину. «Товагищи, в Петгоггаде геволуция, — картавит он, — Кегенский убежал в женском платье». Этот дядя Семён просто какой-то забудыга, человек пропащий даже на фоне других всегда готовых заложить за воротник мужиков, и надо сильно исхитриться, чтобы увидеть его трезвым. Через года три он замёрзнет под заводским (ра-

ботал сторожем на заводе) забором. А пока, находясь уже на крыльце и приплясывая, он напевает: «Офицеров знала ты немало. Кортики, погоны, ордена. О такой ли жизни ты мечтала, трижды разведённая жена?»

Но что мы всё вращаемся, как Луна вокруг Земли, вокруг барака? Мы, конечно, к нему привязаны, но не настолько же. Можно поехать на юг, мимо общественной уборной типа «МЖ», дощатой и побелённой (слово «туалет» было неизвестно), где зимой, понятно, холодно, а летом сквозь дырки в деревянном полу видно, как в этом самом кишат буби — белые личинки мух. На них хорошо клюёт рыба, но Ваня недоумевают, как можно рыться в дурно пахнущих человеческих экскрементах. Позднее он узнает, что заядлые рыбаки поступают проще. Они подвешивают на тонкой верёвочке кусочек рыбы или мяса, продукт протухает, и мухи тут как тут. Через некоторое время созревший живой урожай остаётся только стряхнуть в банку. Мимо бараков и частных домов, по бездорожью переулка (осенью и весной не проехать, но сейчас здесь сухо) выехать на главную улицу городка — улицу Ленина, мощёную синеватой брусчаткой. А по ней — либо налево вверх, мимо школы, где учишься, и кинотеатра «Победа» («по» отпало, осталась «беда») ко Дворцу культуры, либо направо вниз — прямо к проходной машиностроительного завода, которая вывела в люди многих горожан.

А можно закрутить педали на север, и через какие-нибудь триста метров достичь забоя. Наверно, правильнее было бы назвать это место «карьер», поскольку тут ведётся не закрытая, а открытая разработка (экскаватор тут копает глину для стоящего рядом кирпичного заводика), но народ кличет его «забоем», а с народом не поспоришь. Вот и Ваня ничуть не сомневается, и если вы скажите ему о карьере, он ответит вам: «Нет, Карьер — это соседний посёлок, где добывают щебёнку, а здесь забой». Ну, бог с ним, не в словах дело, а в сути. Суть же такова, что экскаватор всё время в поиске, и с годами оставляет за собой холмы и горки, с которых зимой хорошо кататься

на лыжах. Наденешь фуфайку, то бишь телогрейку, и шапку-ушанку, и варежки, и валенки наденешь, возьмёшь лыжи и выйдешь на крыльцо. Уроки сделаны. На душе и в природе ещё светло. Сунешь ноги в ременные петли, натянешь на щиколотки тугие резины, идущие от петель, так что нога без лыжи ни туда, ни сюда, и — вперёд, к забюю. Лыжных палок нет, да они и не нужны: ты же не на гонки собрался; твой удел, как сказал поэт, катиться вниз. И катишься. Заберёшься «ёлочкой» или «лесенкой» на горку и снова катишься. А то найдёшь искусственный или естественный трамплинчик, то есть холмик на пути спуска, и ну прыгать с него раз за разом, пытаюсь побить личный рекорд. И скользишь вниз, присев, а на трамплинчике выпрямляешься. И кажется, летишь-паришь долго, но на самом деле — 3-4 метра, однако всё равно внутри радостно и трепетно. И опомнишься лишь тогда, когда плохо станет видно лыжню, когда ночь, как строгая мать, прогонит домой. Так уже в раннюю свою пору боремся мы по мере своих сил и возможностей со скукой жизни. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не повешалось. А борьба со скукой кидает нас в другую крайность — ставит нас на путь страстей, вырастающих часто на пустом месте. Тяга к соскальзыванию настолько овладела Ваней, что и мороз ему не указ. Бывало, за окном — утро туманное, утро седое, ну, пусть не утро, а день, но всё равно — за минус тридцать, а мальчик одно что надевает шапку-ушанку и берёт лыжи. Мать ему: «Куда ты?! Не ходил бы ты, Ванёк, замёрзнешь». — «Не замёрзну, мама, — отвечает, — я же бегом». Однако от мороза не убежишь: старик вездесущ и молниеносен. Для начала он набрасывает тебе на лицо маску холода, и ты словно играешь самого себя, репетируешь свою будущую смерть. Челюсти твои сведены, земля под тобой скована, всё вокруг гулко и пустынно. Да, да, господа, в забюю ни души, лишь одному неймётся. Движение, конечно, немного согревает, прогоняет охочего до мальчиков старца из-под фуфайки, но из-под варежек, которые отсырели от при-

кладывания их к лицу, оно прогнать его не может. И скатившись несколько раз, мальчик, отмороживший пальчик (на ваш вопрос: какой пальчик? — ответим расплывчато: не главный), бежит восвояси домой. Там он протягивает руки к печке, но в тепле их так начинает ломить, что хоть в снег их засовывай. Отец и говорит: «В холодную воду их надо, в холодную воду!» Но ничего не помогает, и минут 10 мальчик мечется по комнате, не зная, куда деться, и ревет белугой. Отходняк. Впрочем, летом в забюю делать нечего, разве что в одном из поросших тинной озёрец намыть «малинку» — маленьких красных червячков — личинок комара, на которые хорошо клюют сорога и окунь.

Летом наши ноги (а теперь и колёса) устремлены, главным образом, на запад. Чем же нас влечёт запад? Хотите верьте, хотите нет — прудом. Рядом с заводом раскинулся он, и появился, как вы понимаете, благодаря заводу. Жила-была речка. Текла она себе свободно — куда глаза глядят. Но однажды пришли на её берег люди и перегородили её плотиной. И случился с речкой застой, и превратилась она в пруд. Не так ли и ты, народ? Живёшь-течешь до поры до времени, пока не подступят к тебе люди с корыстными лопатами и кирками. И превращаешься ты в пруд, который, если не чистить, оборачивается в болото. Вот тебя и чистят. И открывают периодически шлюз, чтобы выпустить излишки твоего недовольства. Хозяйственные люди заботятся о тебе, как о своей собственности. Но! РУШАТСЯ ПОРОЙ ПЛОТИНЫ, ПЛОТИНЫ ПОРОЙ РУШАТСЯ... Впрочем, на западе лежит не весь пруд, а только главная, так сказать, его площадь — примерно километр на километр. Частью своей он находится к северу от города, сразу за упомянутым выше забюю. Эту часть почему-то называют Собачником. Почему? Может, потому, что здесь любят купаться четвероногие друзья наши? Нет, Ваня бы такого не сказал. Коров, стоящих по брюхо в воде, да наблюдать ему приходилось. Но ведь не Коровник, а Собачник. Остаётся предположить, что здесь топят лишних щенков, что вполне вероятно, так как се-

вер городка застроен частными домами, где многие держат собак. Или — менее правдоподобная версия: название сие произошло от стиля плавания, который пользует едва научившаяся плавать малышня, а именно — по-собачьи. Именно на Собачнике таким макаром поплыл Ваня впервые. Потом ничего, освоил более солидные методы — вразмашку и по-морски. Но более всего он любил нырять. Вдохнёт поглубже — и вниз, раздвигая перед собой воду руками. Однако на глубине холодно и мрачновато, и дно, как правило, не внушает доверия: какого хлама там только нет, начиная от топляков и кончая утопленниками. Поэтому Ваня предпочитал не опускаться на дно, а плыть в метре-двух от поверхности, плыть, пока лёгкие терпят. В этом, кстати сказать, уже виден характер мальчика, его жизненная, если хотите, установка, выраженная в склонности, с одной стороны, к уединению, а с другой — к нарочитой таинственности и желанию удивлять. Я, мол, конечно, пацаны, с вами, но оглянитесь вокруг — нет уже с вами меня. Где же я? Ушёл за хлебом и не знаю, вернусь ли. А то ещё была такая игра: заходили по пояс в воду и бросали на глубину металлические серебристые пробки от пивных бутылок. Их хорошо видно под водой и удобно собирать. «Нам пробки от пивных бутылок служили ориентирами на дне пруда и жизни. В мутной глубине нам ничего другого не светило». Кто больше соберёт, тот и победил... Где, любопытствуете, мы пробки брали? И смотрите на нас выразительно, выражая взглядом насмешливый риторический вопрос: что, мол, уже приходилось вкушать от запретного плода? В целом — да, отвечаем, скромно потупив очи, но немного, может быть, один раз, когда отец с соседом, дойдя до кондиции, вышли покурить-освежиться, а мы вбежали с улицы в комнату, томимые жаждой. Ну и глотнули не воды, а из недопитого стакана, где желтело разливное вино. Ощущения? Что ж ощущения: мир предстал каким-то странным, закутанным в цветной туман, что ли. Но я хочу досказать вам свою мысль: в целом мы откусили от запретного плода, но в данном конкретном случае —

нет. Денег на пиво у нас не было. Да и не продала бы нам, малолеткам, пиво тётянка-продавец. Так что мы попросту подбирали пробки на земле — близ столовой №6, которая стоит на западном пути к пруду. Летом внешние двери её всегда нараспашку, и, проходя мимо, слышишь человеческий гул, звон посуды и обоняешь смешанный запах приготовленных блюд. Иногда, когда у тебя в кармане бренчит (мать, например, дала полтинник, сказав: пообедай сегодня в столовой; а ты и рад, поскольку в общепите гость ты нечастый и тамошний харч кажется вкуснее домашнего), ты заходишь внутрь, в вестибюль, и на мгновение останавливаешься, как богатырь на распутье. Ибо в заведении — два зала: один (вход прямо) — собственно столовая, другой, левее, — пивная, где царят внушительные бочки, гранёные пол-литровые кружки, и дым коромыслом. Налево тебе ещё рано, и ты идёшь прямо. Прямо к буфетчице, если нет очереди, не минуя, конечно, меню, подходишь ты. И делаешь заказ. Например, говоришь: «Мне, пожалуйста, полпорции щей, котлету с пюре, компот и два кусочка хлеба». Буфетчица, она же кассир столовой (а почему бы ей не совмещать, народ ведь не толпится, разве что в обед), отбивает чек. С чеком и подносом ты следуешь к раздаче, где повторяешь: «Мне, пожалуйста, полпорции щей, котлету с пюре, компот и два кусочка хлеба». Мадам раздатчица сверяет твои слова с цифрами чека (ага, соответствует) и выдаёт тебе блюда. Из далёкого сегодня, когда всё наоборот, когда сначала стулья, в смысле щи, а потом уже деньги, это кажется странным и усложнённым. Но, видимо, это делалось с целью пресечь воровство. Хотя воровства, повторяю, почти не было. Каждый советский гражданин имел и использовал право на труд, и в портмоне у него если не шуршало, то, по крайней мере, звенело. Если пивная, продающая продукт на разлив, была закрыта или гражданину не хотелось разливного, он мог купить бутылку-другую «Жигулевского» прямо в столовой или в киоске, что работал от неё и рядом с ней в летнее время. Отсюда и вышеупомянутые

серебристые пробки, рассеянные тут и там, вокруг да около. Ну да хватит о них, довольно мы их собрали. А вот лучше не изволите ли подойти к заведению с тыла? Там располагается деревянный склад-сарай, но не он, конечно, нас интересует — что мы, сараев не видели?! Нас интригует дополнение к нему в виде сколоченного из досок загончика, откуда слышится какая-то возня, какие-то чавки и хрюки. Ба, глядим мы поверх ограды, ба, да тут содержатся живые и грязные существа с рыльцами-пяточками и верёвочками хвостов. А отъелись-то как на казённых харчах! Некоторые уже и встать не могут. Да, столовая — это не дом: обедков много, и сам бог велел вести при столовых подсобное хозяйство. Свиньи поглощают объедки, люди — свиней; безотходное производство получается. Нам неизвестно, как зовут этих общепитовских хрюшек, но мы точно знаем, что поросёнок соседа дяди Бори носит имя, как у хозяина.

Каждый год покупает дядя Боря поросёнка, и всем им даёт своё имя. А чего мудрить? Во-первых, что называется, и с похмелья не забудешь (ибо это сколько же надо пить, чтоб забыть, кто ты?!), а во-вторых и главных, называя животное, как себя, хозяин тем самым признаётся в любви к животному. И в самом деле, Ваня однажды наблюдал, как дядя Боря задавал поросёнку Боре корм. Он не просто ему корм задавал, он и территорию его почистил, и почесал его. И вообще боров Боря розов, как младенец, в отличие от чумазых его соплеменников из столовой. Но будь ты чистым частным поросёнком или общественной свиньёй — конец у всех один. Придёт неизбежный, как революция, ноябрь, и грязь схватится, и земля наденет к празднику белый наряд, да так и не снимет его до апреля. Двери сарая откроются, и дядя Боря впервые выпустит своего питомца на волю. Тот выскочит и, проведший всю жизнь в полутьме, ослепнет от белого света, усиленного снежным сверканием. Как же, оказывается, просторен и чудесен мир, вот только зябко немного! И ещё, что-то ещё мешает поросёнку впасть в полный восторг. Хозяин, как всегда, ему улыбается, но в этой улыбке по-

явилась какая-то примесь — примесь смущения. И в ласковом взгляде двух мужиков, что стоят рядом с хозяином, чувствуется что-то неладное, какой-то обман. И вот троица разделилась и стала заходить к Боре с разных сторон. «Боря-Боря-Боря!» — успокаивающе подзывает его тот, к кому всегда бежишь сломя голову, но сейчас подходить к нему почему-то не хочется. И что это за узкий длинный предмет блеснул на солнце в руке одного из мужиков, который пытается спрятать его за спиной? Блеснул так красиво и страшно. Вдруг хозяин бросается на Бору и валит его с ног. Боря визжит и вырывается, но ему мешают сделать это подоспевшие подельники хозяина. Все трое навалились на него всем телом. А тот, у которого в руке длинный острый (вы правильно догадались) кинжал, метит им под левую переднюю ногу поросёнка, схватив её другой рукой. О, как забилось сердечко в предчувствии невыносимой боли! Секунда — и грузное тело существа, предназначенного на съедение, передёрнула короткая судорога, красиво названная агонией. А за ней и огонь, синий огонь зашумел, вырываясь из лампы, чтобы освободить кожу от волосков. Но перед этим красная кровь хлынула из раны и растеклась лужей на притоптанном белом снегу. И наполнила кружку красная кровь, и дядя Боря отпил её, а подельники его не стали: их привлекал другой напиток — огненная вода, которая ожидала их после разделки туши. Да-да, судари мои, се ля ви. Любил ли дядя Боря своего четвероногого тёзку? Любил. И жалел. И зарезал. Что это — предательство? Нет, мы бы не стали бросаться громкими словами. Это то, о чём говорит народная мудрость: любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Ваня, в отличие от дяди Бори, не любил покушать, и потому рос худеньким. Бывало мать ему: съешь суп, съешь второе, — но он в лучшем случае съедал что-то одно, обижая маму своим «не хочу». И лето ему нравилось ещё в том плане, что можно было не обедать. А намажешь кусок хлеба маслом, посыплешь сверху сахарным песком — и на улицу: бегать. Почему бегать, а не гулять? Ну посудите

сами: вы — пацан или девчонка, и что же, вы будете прогуливаться, как некий господин, как некая дама? Нет, вы то и дело будете переходить на бег. «Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра надела свой роскошный наряд. Опасаясь погони, мы бежали с тобою от собачьего лая и от криков солдат». Впрочем, и зима Ваню привлекала, особенно Новый год. Ведь чем пахнет Новый год для детей Советского Союза? Правильно, конфетами и мандаринами. И ёлкой. Представьте, вы учитесь во вторую смену, пришли из школы домой. Время часов шесть, за окном уже темно. В квартире тоже таится таинственный сумрак, только отблеск огня играет на жести перед печью да в комнате горит настольная лампа, прикрытая абажуром. Вы, конечно, первым делом подбегаете к ёлке, которую вчера весь вечер украшали с родителями. Трогаете бьющихся и небьющихся (из папье-маше) зверей и птиц, игрушечные овощи и фрукты, Деда Мороза и Снегурочку. Любуетесь алеющей над всем этим, насаженной на верхушку звездой. Потом вы подходите к столу (он круглый) и высыпаете на скатерть из бумажного подарочного кулька его содержимое. Какое богатство, какое разнообразие! Помимо яблока и двух мандаринов, перед вами — разноцветная груда конфет: шоколадные, ирис, карамель. Многие из них сделаны на московской фабрике «Красный Октябрь», и хотя имя производителя набрано мелкими буквами, оно действует на вас не менее завораживающе, чем само название конфеты. Вам хочется попробовать и то, и это, но вы понимаете, что надо ограничить себя, надо растянуть удовольствие. Оранжевую мандаринку очищаете и съедаете вы. И ещё у вас сегодня по плану — две шоколадные конфеты, выбранные вами из сокровищницы. Сев на диван, вы откусываете половину «Кара-Кума». Вы гладите кота Ваську, развалившегося на диване, и думаете: хорошо, что кот не любит сладкого. Он любит валерьянку; она манит его, как манят мужиков вино и водка. И хотя у кота нет рук, однажды он умудрился достать пузырёк с лекарством из комодного ящика, открыть и вылакать его. Вы кладёте в рот вторую полови-

ну конфеты. Вот он, смешанный новогодний запах — мандаринно-конфетно-ёлочный. Но — чу! — к нему прибавлено ещё что-то. Пахнет ещё чем-то сладковатым и терпким, и, как бы сказать, менее съедобным, что ли. Этот аромат струится от установки, перед которой на маленьком детском стульчике сидит ваш отец. Установка представляет собой табурет, на нём — включенная раскрасневшаяся электроплитка, на ней — большая кастрюля, где что-то шумит и булькает, а на кастрюлю надет жестяной цилиндр с трубочкой сбоку. Из трубочки в подставленную бутылку капает прозрачная жидкость. Папираса в зубах отца вспыхивает, и его профиль озаряется слабым светом, окутывается дымом. «Алхимик, чародей!» — думаете вы невольно и хотите угостить родителя конфетой, но вспоминаете, что он, как кот, не любит сладкого. Он выливает на табурет из бутылки немного жидкости и подносит к ней горящую спичку. Жидкость занимается синим пламенем. Чудеса! Отец встаёт, берёт ковш и, вычерпнув несколько раз из конусообразной верхней части цилиндра тёплую воду, заменяет её холодной, стоящей на полу в ведре. Капли, стекающие в бутылку, превращаются в сплошную тонкую струю. С довольным видом достаёт из буфета чародей стопку.

Международный день солидарности трудящихся выдался солнечным и тёплым. Он позволил пойти на праздник без пальто, фуражки и сапог. Он позволил выглядеть празднично. В отглаженном костюмчике, белой рубашке вышел Ваня на крыльцо. Там чистил туфли сосед сверху Толя Поляков, старше Вани лет на семь. Юноша уже намазал туфли кремом и, ожидая, пока крем впитается, курил. На нём тоже была белая рубашка и брюки в стрелочку, только красного галстука на нём не было, ведь он вышел из пионерского возраста. Бросив окурочку, взял кусок войлока он. Черные «корочки» заблестели. Сморти, Ванёк! И Ванёк приблизил своё лицо к туфле. Оно там смутно отразилось. «Обувь — это лицо джентльмена», — сказал Толя. Ваня перевёл взгляд на свой ботинок, но тот ничего не отражал. Скорей бы мне вырасти,

взгрустнул пионер, стать таким же высоким и сильным, как Толя, красиво одеваться, гулять с девушками и нравиться им.

Грязь ещё не совсем просохла, но хоженные тропинки были чисты. Не запачкав ног, Ваня ступил на брусчатку улицы Ленина. Возле школы и внутри — движение, разговоры, смех, толкотня. Ученики разбирают первомайские аксессуары (кто транспарант или плакат, кто флажок, кто воздушный шарик, кто просто красный бант прикалывает на грудь) и выстраиваются перед зданием. Девочки в белых передниках несут бумажные цветы. Дети — это цветы жизни, припомнилось Ване изречение. «А какие цветы? — подумал он. — Конечно, живые... А вдруг да бумажные?! Вдруг ненастоящие?! Ведь поётся же в песне: из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Из, понимаешь ли, промокашек. Может, в самом деле я, как тот зайчик из папье-маше, вишу на ёлке, а кончится праздник, и меня уберут в коробку. Или, может, я стеклянный: упаду и разобьюсь. Но не надо о грустном, мне ещё рано о грустном: я ещё маленький». Взяв красный флажок, Ваня вышел из класса. Двери пионерской комнаты были распахнуты. Она являла собой небольшое узкое помещение, где посередине стоял длинный стол, стулья, а вдоль стен несколько шкафов. Шкафы были наполнены книгами, брошюрами, альбомами и рулонами ватмана. На столе царил всяческая канцелярия, как то: листы бумаги, ручки, кнопки, карандаши, кисти и краски. Тут же находились бронзовые статуэтки Павлика Морозова и маленького Ленина. Значительную часть стены карта области занимала. А на подоконнике единственного окна красовался глобус. «Не крутите пёстрый глобус, не найдёте вы на нём той страны, страны особой, о которой мы поём». А они и не крутят; в комнате собрались серьёзные ребята — активисты пионерии. Вожатая Людмила Алексеевна даёт им последние наставления. Уже во всеоружии стоят барабанщики и горнисты. На параде они пойдут отдельной группой, впереди всей школы. Горны будут трубить, барабаны стучать. «Ну, что встал в двери?

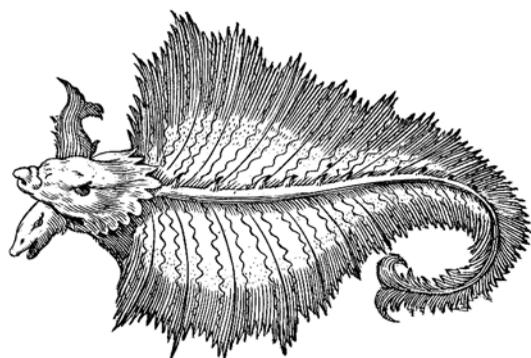
Проходи, — сказала Ване Людмила Алексеевна. — Иди, я тебе галстук поправлю». От её прикосновения по всему его телу прокатилась приятная волна. Хотелось взять её за руку, поправить ей что-нибудь тоже. Жаль, что у меня нет старшей сестры, подумал Ваня. С ней можно было бы устроить возню, невзначай прикоснуться к её груди. Вообще-то девушки, закончившие школу, казались Ване пожилыми, а вышедшие замуж и родившие ребенка — прямо-таки старухами. Но Людмила Алексеевна не была ещё замужем (кажется). После 10-го класса она осталась работать пионервожатой. И форма молодила её, делала почти ровесницей её подопечных, хотя девичьи формы, выпирающие, простите за каламбур, из формы, выказывали в ней странную, или скажем так, пикантную «пионерку». А знаете ли вы, господа, что деление женщин по национальному признаку неверно, поскольку все они персиянки? А персиянки они потому, что у всех их есть перси. «Отчего это я не горнист, не барабанщик? — думал Ваня. — Отчего я не вхожу в актив пионерской дружины? Тогда я мог бы оставаться после уроков и заниматься чем-нибудь общественно полезным вместе с этими ребятами под управлением этой красивой вожатой. Я бы помогал, например, выпускать стенгазету. Правда, я не умею рисовать. Но я мог бы сочинять лозунги и речёвки: «Мы, ребята всей страны, делу партии верны! Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного». А возможно, иногда мы с Людмилой Алексеевной оставались бы в пионерской вдвоём. И, разумеется, делая что-нибудь, что-нибудь вырезая и клея, я бы просил её, как бы между прочим: «Людмила Алексеевна, почитайте, пожалуйста, про Павлика Морозова». — «Что это с тобой, Иоанн? — вопрошала бы она удивлённо. «Да так, — не выдержав её взгляд, потупив очи и слегка покраснев, отвечал бы я, — захотелось». — «Ну, хорошо», — и она взяла бы тонкую книжицу. И на голос её откликнулись-отозвались не только бы мои уши, но и всё моё тело. А когда она дошла бы до места убиения мужественного пионера и голос её

задрожал, я тоже задрожал бы весь в ответ». «Людмила Алексеевна, — взволнованно сказал Ваня, — примите меня в актив!» — «Так, а что ты умеешь?» — «Я умею петь». Зачем я это сказал, подумал он, ведь я совсем не пою. Но было уже поздно, и на её предложение что-нибудь исполнить он, как бросился в пропасть, запел: «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только

утро замаячит у ворот, ты увидишь, ты услышишь, как весёлый барабанщик в руки палочки кленовые берёт». И — о, чудо! — он не узнал своего голоса: тот звучал звонко и красиво, почти как у Робертино Лоретти. «Молодец! Не ожидала, — восхищённо произнесла Людмила Алексеевна. — Что ж ты до сих пор скрывал свой талант? Нам нужны таланты».

Ян Кунтур

Эстергом. Три силуэта



1.

Он встречал меня
сюрреалистическими лоскутьями
буферных маковых лугов
словно складками алого походного
палудамента
вымокшего от росы
и брошенного подсушиться
на зелень солнцепека

Белела дорожная пыль
в которой можно было отыскать волоски
справедливости
из честной бороды Марка Аврелия
и утеранные им на пути от древней
янтарной переправы
значочки и буковки смыслов

Альфы Беты Ипсилон и Омеги
которые не растопчут и не сотрут
ни подбитые калиги воинствующей
данности
ни копыта коня декуриона забвения:

*...Каждый живет лишь настоящим,
ничтожно малым моментом; всё же
остальное или уже прожито, или покрыто
неизвестностью...**

Легионы автобусов
управители нашего мира мычат посреди
города
на просторном асфальтовом лугу
нынешние хозяева сложенного вчетверо
пространства —
глиняных осколков

которые еще не так давно
было немислимо склеить
не подвергнув кого-нибудь остракизму

Хотя
всё всегда *упокоится в одном сфере*
*округленном*** (12.3)
в *шаре всюду равном себе***
творящем прямолинейность солнца
и застенчивую душу горы
тьму дубовой листвы парка над протокой
и облачную стену суровой часовни
Он выходит с огнем и возвращается в огонь

*...Что от богов, полно промысла, что от
случая — тоже не против природы...**

А желающие поживиться за чужой счет
квады
снова угрожают границам моей автаркии
норвя прорваться хаосом
из-за пограничного потока
к сердцу моему чтобы навсегда
выбить подпорки духа моего
равновесия
порядка

*...Жизнь — это борьба и странствие
по чужбине...**
*...Поступай во всём, говори и думай, как
человек готовый уйти из жизни...**

Но эти квады или маркоманы страстей
не так страшны как вечно голодная химера
антониевой чумы уныния
тянущая колесницу полную бубновых тел
хотя и к ней надо бы
относиться с нежностью и пониманием

*...Стань хорош покуда жив...**

И в смерти можно найти удачу и быть
счастливым
приласкай и ее горемычную
ведь ей так этого не хватает
только не выпускай стилоса
объединяющего тебя с чистым листом
*естества целого*** (6.01)
покуда еще жив

*...Умри не ропща, а кротко, подлинно
и сердечно благодарный богам...**

И где бы ты не оказался
в какие бы болота и катакомбы не был
погружен фатумом
стой всегда на своей вершине обозревая
дали
и смотри как делает крутой изгиб великий
пограничный поток
продолжения которого не видно
поэтому-то горы той стороны кажутся
своими а свои чужими
нет в них различия

В каждый
из оставленных тебе болезнью дней
упорно
убеждай
уговаривай
настраивай себя
что и это естественно и не противно
природе
так же как рождение младенца
или появление зеленой колбочки инжира
под балдахином листа
как переход поленьев в огонь
огня и зерна — в еду
которая в свою очередь должна стать
построением
чьей-то жизни

Пусть каждый из оставшихся тебе дней
станет новой книгой-заклинанием против
страха
подготовкой к твоему последнему
*превращению*** (7.18)

*...Ты взошел на корабль, совершил
плавание, достиг гавани: пора слезать...**

(Писано близ области квадов, напротив
устья Грануи***)

Дорога от переправы у Сальвио Мансио****
шаг за шагом уводит тебя
но не в Рим твоей славы а в Сирмий твоей
мудрости
шаг за шагом к тому

о приходе чего ты точно знаешь
так будь же готов встретить это как подобает

Обладавший величием горы
ты обретешь еще большее величие
которое и не снилось твоим
пурпураносным предшественникам

В белой дорожной пыли
утраченные и найденные
Альфы Беты Ипсилон и Омеги
которые не растопчут и не сотрут
ни подбитые калиги воинствующей
данности
ни копыта коня декуриона забвения

2.

Округлый римский шлем
с облачным плюмажем и двумя
предстоящими
высится
над униженными руинами орлиного залёта
древних королей
твоего родного гнезда, Вайк*****
и над нынешними черепичными коллажами

Виден издали с любой точки этого места

Что же более свято и истинно:
сохранить в чистоте
протирая с почтением бархоткой от пыли
веру предков
или
истово отдаться новой
выдвигаемой и продвигаемой
как единственная правда?
(Как правда силы?)

Ответ скрыт за скорлупой причины
первичности мотива:
или это матовая выгода
брачно-контрактная по сути и бурая
по масти
или же искрящаяся жажда отыскать
для птицы-души
восходящий поток который быстрее
и органичнее забросил бы её
в синеву свободы

Так что же заставило тебя, Герой
встать тогда на колени?

На протяжении тысячелетия ты так
и стоишь окаменев
над обрывом угловой башни
побелевший и коленопреклоненный
получивший апостольское достоинство
ставший брендом
фетишем
но так и не дошедший при жизни
до просветления
которое соответствовало бы твоему статусу

Седая борода твоя разрастаясь все сильнее
превращается в плющ опутавший остатки
твердыни
не ставшей твердью
а плющ этот превращается в струйки крови
текущей из скальных ушей и глаз
по щекам по шее по плечам по груди
распятой ослепленной и четвертованной
истории

Что же заставляет имеющих полноту власти
«гордых сикамбров»
склонять голову перед
длиннополыми высокомерными
пришельцами
самоуверенно внушающими истины от лица
того
кто хоть и отдавал кесарю кесарево
но бежал без оглядки от любой власти
в пустыню полной осознанности?

...Царство моё не от мира сего...*****

Того аполитичного анархиста-хиппи —
вольного весеннего цветка среди хлама
старого храма —
который признавал только беспредельную
отцовскую любовь к сыну
и требовал лишь ответного чувства
Он был хладнокровно растоптан нагнавшей
его

подбитой калигой власти
и превращен в ее гербарий

Ну так что же? Ответь, Герой

но для более звонкого полого бряцания
рыцарской доблестью
или только прикрываемой ею
голой жажде славы
Возвеличиться любой ценой и удержаться
на этом возвышении
любыми средствами

Для чего тебе, огненнородый*****
(уже в прошлом) старик
имеющий всё что мыслимо даже равенство
с римским понтификом,
на седьмом десятке лет
Гроб Господень
чтобы самому забраться в него?

Или наоборот как раз на седьмом десятке
когда слава и власть достигли полноты
и предела
а отчеканенные для их достижения
пфенниги и дукаты грехов
переполняют кошель души
скрюченной под их тяжестью
как раз тогда и становится необходим
Гроб Господень?

Тем более теперь ты Первый
и весь негодующий от вести о захвате
и осквернении святынь неверными
христианский улей
смотрит на тебя как на единственного
заступника веры
ожидая с любопытством что предпримет
в ответ этот старик
игра в справедливость и тщеславие
которого
всегда опирались друг на друга

Но прокрустово ложе Гроба Господня
как ни помещай в него свою самость
все равно остается великовато
и придется мучительно растягивать себя
как на дыбе
за волосы и пятки
до полного признания или отказа
но и этим не искупить крови и позора
Второго Крестового
следы которого ты сейчас выискиваешь
в окружающем и в памяти

Но не заслужил ты Иерусалима
Манипулирующий одним движением
мизинца
городами и народами
ты не властен даже над скромной горной
речкой в глухом уголке Киликии

Затопивший своей гремучей властью
пол-Европы
ты тихонько захлебнешься
на глазах своего ошеломленного войска
опутанный по рукам и ногам голубыми
меандрами Салефа

Считавший себя великим кукловодом
сам ты окажешься марионеткой
сброшенной легким выдохом судьбы
с золотого седла в сердцевину холодной
пены
которая моментально разорвет так
тщательно собираемые тобой пазлы Власти
и упокоит не в родовой королевской
усыпальнице
а в желтой враждебной земле Азии

Но пока еще есть время, огненнородый,
Так насладись по полной
последними днями покоя и величия
в этом земном угорском раю устроенном
для твоей армады
миролюбивым византиелюбом Белой III
а за тем будет прорыв через кишачий
сепаратизмом муравейник Балкан
и никогда уже тебе не обрести в этой жизни
покоя и величия
только все более засасывающая трясина
адского рва

Да ты добился своей цели
имя Барбаросса навсегда вычеканено
на памяти
но потеряешь всё с одним глотком воды
который уравнивает тебя с последним нищим
лепрозория
а героический меч твоего рыцарства
и все драгоценные имперские стилеты
превратятся в простые грубые гвозди
настоящей справедливости и раскаяния

которыми ты сам прибьешь себя
к стенам фантастической пещеры горы
Киффхойзер

Обладавший величием горы
ты стремился к еще большему величию
не считаясь ни с кем
но получил лишь простую истину пресной
воды и вечную жажду при этом

А твоя седая спящая борода будет
разрастаясь с каждым годом
кольцо за кольцом опутывать гранитный
стол
кольцо за кольцом все больше лишать тебя
свободы и превращать в камень

В белой дорожной пыли
утраченные и найденные
Альфы Беты Ипсилон и Омеги
которые не растопчут и не сотрут
ни подбитые калиги воинствующей
данности
ни копыта коня декуриона забвения
но нет среди них ни одной опутанной
рыжим волосом

Не тяжелый вороной рыцарский конь
с мохнатыми ногами

несет сейчас меня грызя удила сквозь
темноту

но рейсовый автобус
один из легиона управителей нашего
времени
один из нынешних хозяев сложенного
вчетверо пространства

И жаждет он только быстрого захвата
самоцветных электрокладов
рассыпанных в ночи вдоль шоссеиной
трассы

Это Конец или Начало
твоего паломничества, пилигрим?
Где твоя Земля Обетованная?
Где находится Иерусалим твоей мечты?

Не все ли равно
Сирмий Секешфехервар Салеф?

... *Что от богов — полно промысла, что
от случая — тоже не против природы...* *

Этот день и последний равны между собой
Один день длиною в жизнь

*Точные цитаты из трактата Марка Аврелия Антонина «К самому себе» (из 12 книг, в русском переводе «Размышления»)

**Разные варианты терминов философии позднего стоицизма

***Перефразированная цитата, показывающая на место пребывания обоих авторов в момент написания

****Древнеримское название Эстергома

*****Имя, данное при рождении Иштвану I Святому — первому признанному римским папой королем Венгрии, начавшему активную ее христианизацию и поэтому удостоенному равноапостольного достоинства, как и Владимир Великий.

*****Слова Иисуса Христа — евангельская цитата.

*****Перевод прозвища Барбаросса, данного итальянцами за цвет бороды Фридриху I Гогенштауфену — императору Священной Римской (Германской) империи.

Любовь Соколова

Зязелга



В пермском издательстве «Траектория» выходит книга прозы журналиста Любови Соколовой «Записки взрослой женщины». С любезного разрешения издательства «Вещь» публикует журнальную версию повести из дебютного сборника автора.

Редакция

Зимой 1929 года

Моего прадеда Якова Швецова не раскулачили и не сослали. Просто выгнали из дому. Пришли морозным январским утром 1929 года. Устроили коротенький митинг — корявые лозунги покричали под окнами — и принялись грабить. Десятимесячную Валю вытряхнули в сугроб из люльки, в которой она качалась на крюке под матицей. В люльке сидело четверо ребятишек, трое сами выбрались, как только лопнула перепиленная лезвием топора веревка, и короб свалился на пол, а Валя клещом впилась в тюфячок,

пришпиленный к донцу, и молчала, пока односельчане волокли на двор кулацкое добро. Заревела, задохнувшись сухим январским снегом в сугробе. На крик метнулась золовка — жена старшего брата, выгребла, завернула в тряпки, спасла. Ничего этого маленькая Валя помнить и рассказать не могла, однако подробности грабежа в деталях передавались изустно от поколения к поколению по женской линии вплоть до правнучки ограбленного мельника, а дальше уж и помнить про это стало некому. Обида иссякла. Валя, когда кончилась советская власть, обратилась в сельскую

администрацию, заявила права и получила компенсацию утраченного имущества в размере двух с половиной миллионов неденоминированных рублей. Случилось это в 1997 году. В стране началась очередная денежная реформа. Российские деноминированные в 1000 раз отличались от предыдущих по номиналу. Валя не могла понять, много или мало дали ей денег за отцовский разор. Миллионы старых казались на слух больше приравненных к ним тысяч новых рублей. Кто кого больше, старый рубль, новый рубль? Оба в ходу. Сравнила с пенсией — за полгода как будто бы получила. Купила досок на дачу для обшивки сарая, хватило ещё и за доставку заплатить, на том успокоилась. Делиться не пришлось. Валя из наследников по прямой последняя. Всё ей досталось. Доказала, с некоторым даже превосходством над сестрами, рано ушедшими в мир иной, что в России надо жить долго: чего-ничего, а может, и дождешься.

Валя была младшим, восемнадцатым ребенком Якова и Феофилакты Швецовых. Жена мельника носила мужское греческое имя по причине малограмотности местного дьячка, плохо разбиравшего тексты святцев. Для краткости называли ее в деревне Феоной, а дома — Фоней. Женской плодовитостью Фоня искупила ошибку, закрепленную в документе. Начиная с 1905 года приносила она почти поровну мальчиков и девочек, как-то родились у нее двойняшки, да не выжили. Одиночные ребятишки получались более-менее ладные, хотя порой Бог прибирал их в младенчестве, но добрая дюжина достигла в конце концов настоящего возраста. Половина птенцов вылетела из родового гнезда до того, как наступил тот самый горький день: кто замуж, кто — на заработки. Куда двинулись, где осели, сейчас не установить. В шкапулке — тоже сам Яков резал ее из липы — хранились кое-какие письма с обратными адресами. Шкапулку кто-то из «кулачивших» прибрал в то утро. Письма пропали. Да и ни к чему потом все это было. О чем писать? А после войны осталось детей Швецовых по пальцам одной

руки сосчитать, кто где лег и похоронен ли, в такой большой беде не разберешь. Сыновей выжило двое, и достаточно. Один с фронта вернулся контуженый, сильно пил и сошел с ума в белой горячке. Другой развивался по партийной линии, отрекся от отца-матери, в шестнадцать лет стал председателем сельсовета, сразу вступил в партию, пошел на повышение, в войну руководил тыловым райисполкомом, немного посидел в лагере, был реабилитирован, снова работал и закончил дни в хорошем городе Симферополе, оставив после себя не слишком многочисленное, но добротное потомство. Швецовых дочерей до старости дожило трое: Катя, Валя, Таня.

Катя, самая старшая, с осени 1928-го жила в Городе, а в той люльке, что Яков собственноручно изготовил и отполировал, и пропитал льняным маслом, и расписал красками, и украсил резьбой, сидели две младшие, Танька с Валькой и два внука, от сыновей, которые женившись проживали с родителями. Места в двух избах Швецовым хватало. Яков и не хотел отпускать молодых, мельчить земляной надел, сводить скотину со двора. Молодухи помалкивали, сыновья хмурились — терпели. Мельник не сомневался, на воле агитаторы тут же обратили бы их, затащили в колхоз вместе со всем нажитым добром. А добро в большой семье было такое: маслобойня механическая, сделанная по собственным чертежам в основном из дерева. Две лошадки, пять коров в запуске, одна с теленком, да еще бычок; без малого сотня овец, две дюжины кур, гусей и уток оставили в зиму на развод по дюжине, а битой замороженной птицы точно не считано, много. В чистых бочонках круги намороженного молока, в других — круги масла. В подклети кадки с капустой, брусничкой, грибами. Две свиных туши, одна только наполовину съедена. Пять кулей с пельменями. В амбаре — зерно фуражное, зерно семенное; мука — гречневая, пшеничная, ржаная, овсяная. Еще в подклети сложена была шерсть чесаная, нечесаная, а также пряденая, половики тканые не считаны, в рогожах перо и пух перины набивать, да

станок еще ткацкий с разными валиками стоял во второй избе. Это помимо мельницы, которую Яков держал на паях с одним крепким мужиком из большого села Печмень, но мужик съехал в город, забрав только часть пая мукой и солониной, да так и сгинул.

Выносили добро долго, грузили на колхозные подводы. Когда повели теленка, он заревел, сердце надорвалось у Феоны, а разбойник, тащивший за ворота реквизируемый самовар, снял с самовара краник и сунул теленку в зубы, тот и подавился, захрипел, забился в веревках. Мужик с самоваром хохотнул и бодро побежал дальше, не думая, зачем ему самовар без краника, зачем покалеченный теленок. А ладно — не себе ведь брал, «для обществу», «обществу» и так сгодится. Яков этой сцены не видел, он лежал под высоким крыльцом, глядя на балясины, собственноручно им точеные на токарном станке давным-давно, еще в первые годы жизни в новом доме. А может и не глядел на балясины, а так лежал — пустыми глазами уставившись вверх, потеряв скатившуюся с головы шапку. Может, и не видел ничего.

Яков больше в жизни слова не сказал. Удар с ним случился, не мог ни говорить, ни ходить, ни шевелиться. В сумерках Фона погрузила мужа на салазки, застегнула на нем ношенный чужой тулуп — хозяйский-то сорвала шантропа. Утащили вместе со всем добром не только тулуп, но и добрые валенки, пришлось ноги рваниной укутать поверх битых молью чуней, завалевшихся в сарае. В дом, выстуженный грабежом, уже вселился главный деревенский бедняк Егорка вместе со своим золотушным и наредкость сопливым семейством. Так вышло, что в егоркиной семье сопливы оказались и малые дети, и жена и приживалка-теща. Они тем и славились на деревне, что сморкались наотмаш через улицу длинными зелеными соплями. «Захаркают и двор и пол», — подумала Фона напоследок, глядя в свои-чужие окна. Кто из родных куда девался, Феофилакты не знала или не помнила, или не хотела знать. Впряглась в санки, груженные бездвиженным мужем, перекинула котомку с краюхой черного хлеба через плечо и пошла по синей, в глу-

боких тенях, дороге прочь из Зязелги. Вернулась к Масленице. Одна. Что с ней было, где скиталась и как похоронила Якова, не рассказала. Нашла Таньку с Валькой, забрала и поселилась в избушке на одно окошко, стоявшей на задах длинного огорода доброй вдовы-колхозницы. Сама в колхоз не вступила. Однако на работу подряжалась. С клочка земли, что раскопала весной возле избушки, троим не прокормиться, а трудодни служили хоть и тощим, но все же подспорьем.

В Мотовилихе

Старшая дочь Швецовых Екатерина осенью, накануне раскулачивания, вышла замуж. Ну как вышла — выдали! Да еле выдали-то. Первенцем Катя оказалась неудачным. Рано потянулась к наукам, арифметика и письмо давались ей, с удовольствием читала книги, порой вслух. Книги разные: сказки, исторические очерки, житие святых и, наконец, само Святое Писание. Буквы разбирала легко и с мрачным усердием складывала их в непонятные слова, составляла из слов, ошибаясь, порой в интонациях, тягучие фразы. Светлела душой. Работа деревенская, понятная и веселая, наоборот, ее тяготила. Следом за Катей в семье появились пацаны-погодки, на радость родителям бойкие и крепкие, как поросятки, за ними снова на свет пошли девочки. Вот им-то и читала Катя книжки вслух. На сезонную работу Швецовы нанимали батраков, не было нужды старшую девку нагружать сверх меры, поручали ей самое простое, полы мыть-скоблить да когда-изредка двор мести. Она, книг начитавшись, задумавшись, бывало так посреди недомытого пола и заснет. Крестьянских надежд на нее не возлагали, даже посмеивались, мол, кто как, а наша Катюшка через грамоту в люди выйдет. Однако и в люди Катя не торопилась, росла замкнутой. С десяти лет записалась в церковно-приходскую школу в селе Печмень, увлеклась изучением библии, одно время зачитывалась до того, что пряталась по углам от нечистой силы. Когда пришла в себя — в церкви ее специ-

ально приезжий батюшка «отчитывал» сутки за солидные по тем временам деньги, два целковых, — осознала грех богатства и никогда уже более с этим грехом не мирилась.

Достаток родительской семьи тяготил Екатерину. Огорчала страдная с утра до ночи работа, следствием которой становился все тот же достаток, неуместный в жизни православного христианина, лишней, греховный.

У грамотной девушки от высоких мыслей и большого знания часто болела голова. На покосе она, помахав без усердия косой до полудня, укладывалась спать в холодке и больше уж не поднималась, ссылаясь на сильное кружение. С жатвой, когда серпом в наклон надо орудовать, того хуже выходило — свяжет пару снопов и валится с ног. Отец сердился: «Зря только немочь место на телеге занимает, возишь ее туда-сюда без толку, пусть дома сидит». Но дома Катю оставлять получалось накладно. Шли мимо погорельцы, христовы странствующие люди или иные побирушки, она раздаривала семейные припасы с такой щедростью, что угрожала оставить родных голодом. Все от убеждения: грешно сытым быть, когда другие нуждаются в куске хлеба. Катя очень рассчитывала на царствие небесное, в которое богатому пройти тяжелее, чем верблюду в игольное ушко. Старалась избавить близких людей от лишнего блага на этом свете ради высшего блага в загробной жизни. «Нам не дом домить, не богатство копить», — с этой поговоркой, подхваченной у прохожего старичка-странника, она прошла до конца своей достаточно долгой жизни.

Куда ж пристроить дочь, не годную не в дому, не в поле? Собирать грибы или ягоды Катя старалась. Дело не противоречило божественной философии. Но и тут без особого результата: корзинку опрокинет, с туеском в воронку завалится. Воронки карстовые в этой местности богаты дикой душистой клубникой. Собирают так: сбегут вниз, и до верхнего края поднимаются, разнимая руками траву, выбирая из нее белобокие ягоды. Катя вялым телом больше клубники замнет, чем соберет, а ту, что

соберет, не донесет до дома, подарит кому-нибудь либо сама съест ненароком, спохватится — а поздно.

О том, что девка с причудой, в округе знали и не сватались. В 23 года она, ни разу не целованная, объявила о намерении стать христовой невестой, да монастырей не осталось. Последний мужской на Белой горе был разорен, братия разбежалась. Яков, отчаявшись, решил дать за ней очень хорошее приданое, только чтоб на вывоз куда подальше, чтоб новой родне в глаза не глядеть. Никудышную девку с рук сбить, все равно что обман с цыганской лошастью провернуть, потом сраму не оберешься. Сваты приехали в Зязелгу за тридцать километров, из деревни Ломь, что в соседнем уезде. Жених как увидел Катю — в плотно повязанном белом платке, толстоватую, круглолицую, с круглым же носом посреди лица, с круглыми бровями и круглыми румяными щеками, сразу приуныл. Пресная девка, не понравилась. А ведь у Кати еще и ноги колесом оказались, от того на ходу она смотрелась низкорослой, а на скамье сидела до пола не доставая новенькими чистыми лаптями. Про нижнее невестино особенное устройство Димитрий в первую встречу не узнал. Катя носила длинные в пол юбки, косолапость выдавала только походка вразвалочку, а при сватах она даже на стол накрыть не встала с лавки — дичилась. Но это все было ничего — за Екатериной давали железную кровать с никелированными шпешечками и граммофон довоенного производства. Димитрий осмотрел кровать, попробовал пружину, пересчитал подушки, и согласился, пусть невеста его старше на пять лет: «Ничего, нам не в метрику смотреть, тем более что еще и граммофон».

Вскоре после свадьбы молодые отправились в Город, муж получил комнату в семейном бараке при Мотовилихинском заводе, куда устроился по вербовке разнорабочим с перспективой выучиться на водителя грузовика. Выучился, права получил, квалификацию оформил. А Екатерина стала вести хозяйство и приготовилась рожать, поскольку Богом сказано: плодитесь.

Беда, приключившаяся в Зязелге с родителями, прошла стороной. Катя узнала о раскулачивании только весной, от одного из братьев, приехавших в Город искать новой жизни. Димитрий к тому времени уже зарекомендовал себя на заводе, вступил в партию по какому-то там призыву; дали моллодому коммунисту новенькую полуторку, стал перевыполнять план и выступать на собраниях. Известие о том, что женат на подкулачнице, сразило его, как удар в поддых. А ведь мог бы и догадаться, что не все чисто в невестином роду. Откуда богатство? Купился на кровать с граммофоном. Виноват? Жестокий 1937 год еще не наступил, но публичные суды и разоблачения вредителей шли полным ходом. Могли донести на него. Не знал, как лучше поступить, скрывать происхождение супруги или пойти признаться, самому на себя стукнуть. Страшно переживал от неопределенности, начал выпивать. Выпивка подействовала подло: отчаяние оборачивалось злобой. Димитрий стал поколачивать жену, вроде как по мотивам сугубо политическим. Опять же если спросят, скажет: «Перековывал». А кто спросил бы? Жен соседи по бараку лупили не только в день полочки, а в любой праздник. Бабы только радовались, гордо светя фингалми: бьет — значит любит, равнодушен.

Опасные вести из Зязелги до завода так и не дошли, шофер-передовик остался безнаказанным за связь с чуждым элементом. Однако привычка поднимать руку на безответную жену закрепились. Способствовало тому Катино упрямство. К себе она мужа допускала редко. Плотский грех ставила выше того греха, который свел в могилу отца, всю жизнь положившего на обретение сытости и достатка. Телесный контакт с мужем попадал под запрет в пост, по пятницам и по специальным церковным дням, а таковых набиралось в православном календаре что-то слишком много, и еще — в воскресенье. Димитрий подолгу оставался без супружеской ласки и сильно переживал, смиренно лежа на богатой кровати с никелированными шпешечками, тогда как безбожное население барака запретных календарей

не придерживалось. За хлипкими дверями и перегородками оно стонало и билось на топчанах, на тюфяках, на нарах, давая волю единственно доступной, никем не нормированной пока радости. Димитрий включал граммофон, чтоб заглушить звуки, возбуждающие ненависть к жене, истово молившейся в углу.

В разрешенные ночи муж брал свое, выработывал нерастрченную животную способность к воспроизводству. Катерина, не состоявшаяся Христова невеста, каждое соитие принимала как посланное Богом испытание, плотской возбуждающей радости себе не позволяла, не отзывалась на мужнины грубоватые ходы и ласки ни звуком, ни телесным трепетом. Только ноги, того не желая, ловко закидывала ему на спину. Получалось будто она сама нарочно, поощряя мужнино срамное старание, пятками елозит от крестца до лопаток и обратно. Димитрий каждый раз дивился, как ловко устроено нижнее «колесо» набожной жены. Но таково его шоферское счастье, кому четыре колеса, а ему выкатилось от судьбы пятое. Нравилось ему ощущать себя в этой округлости, бывало до пяти раз за ночь уестествлял супругу. После каждого захода Катя кидалась в угол перед иконами, просила у Господа, чтоб избавил от лиха, но равнодушный Бог вставал на сторону венчанного ее господина — мужа, и пока тот не насытится, Катя закидывала и закидывала на потную спину кривые ноги. Смирненно ждала поста. Оправданием всему служила беременность. Катя унаследовала от матери плодовитость. Дети получались один за другим с правильными паузами между родами. В 1929-м году — первая дочь, спустя 4 года — еще одна, а с 1935-го по 40-й пошли мальчики, трое. Жизнь налаживалась. В конце лета Димитрий хотя бы раз, а то и два-три раза гонял полуторку в порт, привозил полный кузов арбузов, угощал весь барак. Троица старших ребятишек ходила грудь колесом: «Наш папка — самый лучший папка во всем бараке!» А кто бы спорил? Привозил Димитрий на зиму дрова себе и соседям. Шабашил слегка. За это его любили. Жена кое-

как терпела, кое-как вела хозяйство. А сам он махнул рукой на все, лишь бы ребятишки были сыты и здоровы. Бабу можно и на стороне пригреть, только нехорошо это для партийного коммуниста, а как иначе?

В 40-м отметил тридцатник, заматерел. На празднике — а пирушки Дмитрий собирал часто в своей вовсе не казавшейся тесной комнате 18 квадратных метров, на треть занятой печкой, — младшая дочка Галочка пела модную песенку. Граммофон, полученный в приданое, работал исправно, да пластинок было не достать. Новые песенки Галочка выучивала по радио. Шестилетнюю кудрявую девочку ставили для выступления на табуретку. Она была уже знатная певица, правильно выводила мелодию, четко произносила и никогда не путала слова. Пела она в тот раз «Катюшу».

День рождения Дмитрия пришелся на Страстную седмицу. Катерина ходила вокруг печки уточкой, лицо мрачнее тучи. Грех пить, и плясать, и петь, даже разговаривать громко грех в эти дни, а муж разгулялся. Когда Галочку в очередной раз запросили снять с полатей, чтобы исполнила «Катюшу», Катерина воспротивилась, расставила руки, подалась животом вверх, она тогда носила пятого ребенка, задыхаясь шепотом закричала: «Не дам! Грех! Грех это!» Ей мерещился, должно быть, страшный суд, но до суда до того еще предстояло дожить, дотерпеть, домучиться. Дмитрий же, не вступая в переговоры, поднялся из-за стола и ударил жену кулаком в круглый нос так, что она опрокинулась и откатилась под кровать. Ушиблась больно и животом, и всем телом, лежала там до конца попойки, утирая жигу, вытекающую из разбитого носа. Молчала — не завывала, не всхлипнула.

Галочку достали с полатей, и она, сама не своя от страха, спела опять «Катюшу». Почему-то страшно было за папку. Получалось, что из-за мамки папка нехорошо поступил, будто бы зверем сделался. Галочка понимала, что, распевая «Катюшу», мамку, лежащую ничком под кроватью, обижает, но ей не жалко было мамку, и от того, что не жалко, становилось страшно за себя, за то, что она

сама тоже плохая. С тех пор Галя «Катюшу» ни разу не пела, даже когда взрослая стала и другие в застолье или на праздничной демонстрации пели, старалась отойти, чтоб не слышать, не участвовать. Песня пробуждала в ней нехорошее чувство, она испытывала отвращения к себе самой, и злую жалость к нелюбимой матери, и обиду на отца. Справедливая Галя никогда не простила себе, что пела, когда мамка битая под кроватью валялась. Встала на сторону сильного, но ведь и мамку слабой не назовешь. Она ведь не отступилась от своей веры, хотя знала, что добром бунт против мужа не кончится. А Галя разве стала отступницей, выполнив волю отца? Мамкина истовая вера никогда не была ее верой. Клубок безответных вопросов всплывал из глубины пораненной души и душил, душил, душил. В тот вечер шестилетняя девочка будто лишилась детской безответственной невинности, примерив на себя тяжесть выбора, к которому была еще не готова, выбора, в котором куда ни кинь — всюду клин. В ту же ночь Галя свалилась в горячке с невозможно жуткими кошмарами: идет она по коридору, коридор всё уже и уже становится, теснит ее, изгибается змейей, а в самом конце дверца с игольное ушко, не пролезть вперед и никак назад не двинуться. В зрелом возрасте догнала ее клаустрофобия, просочилась из больных детских кошмаров в обыденную жизнь. Галина Дмитриевна, проживая на восьмом этаже, боялась ездить в лифте. А тогда девочка еле выжила, перемогла тяжелую фоликулярную ангину. Обошлось без осложнений, голос сохранился, только петь Галочка долго отказывалась, никто не понимал, что все-таки с ней произошло и что с ней дальше будет. А будет вот что. Пройдет много лет, и в художественной галерее она увидит портрет женщины с блюдом, на блюде — мертвая голова мужчины. Прочитает на табличке с непроизносимым итальянским именем «Иродиада с головой Иоанна». Вспомнит мамкины страшные сказки про то как Саломея танцевала и просила за танец принести ей голову Крестителя. Всмотревшись в портрет, желудочной

судорогой отзовется на библейский сюжет. Неужели она сама как Саломея?

— Нет! — скажет Галина Димитриевна и топнет ногой так, что задремавшая смотрительница зала встрепенется, посмотрит с тревогой по сторонам.

— Да! — молча скажет ей с портрета древняя дама, держащая на блюде подарок царя Ирода.

С той поры странное выражение лица будет ловить Галина в своих мимолетных отражениях: то в посуде, вычищенной до блеска, то в витрине, то в автобусном стекле... Но разве была на ней вина? Нет, просто стечение обстоятельств и горькое детское бессилие. Но как простить себе? Так и не простила.

На той же неделе, вскоре после попойки с дракой, папка принес любимой дочке красные туфельки, кожаные, с ремешком. Туфли оказались велики. Лизка схватилась было примерять, но папка пригрозил, мол, не смей, сестре туфли на вырост, в новый год на елке выступать. Димитрию тогда уже ясно стало, что Галочка будет артисткой, но росла медленно, туфли только через год стали ей почти впору.

Обида

Мой дед Димитрий ушел на фронт в конце августа 1941 года. Нет, не добровольцем, а по призыву. Пятеро детей, жена, не способная ни к любви, ни к работе, на кого их добровольно-то оставишь? Дождался повестки. Сначала думали, война ненадолго, а потом стало ясно, что призовут. На вокзал провожать Катя поехала со всем выводком: Лизка тащила годовалого Генриха, трехлетний Рудик шагал, держась за подол матери, а Толика, ему пять еще не исполнилось, вел за руку отец. Не взяли только Галочку, мать велела прибрать комнату после прощального застолья. Девчонка ловка была в уборке, нравилось ей красоту наводить. И ведь у кого набралась? У Галановых! Тоню Галанову в бараке недолюбливали. Не ладно жила Тоня, не людски, даже никогда мужем не бывала бита.

В кино часто ходила, а порой и в театр. Муж на чистой работе состоял, в ОТК, почти что инженер, только без образования. Одевались Галановы фасонно, летом — во все белое; зимой — в длинные, до щиколотки, пальто с воротником из цигейки и каракуля. Детей воспитывали тихо, и дети у них получились какие-то ненормальные, что мальчишка, что девочка всем встречным говорили «здрас-сьте», не стеснялись взрослых, разговаривали между собой длинными предложениями. В 39-м Тониного мужа «забрали», вернулся перед самой войной, на работу устроиться не успел, как снова куда-то девался. Зинаида, которая обычно все знала, только глаза под лоб заводила, когда спрашивали ее, где Галанов. Первый донос она сама написала, даже и не таилась. Весь барак знал, кто у них пишет доносы. Знал барак и побаивался Зинаиду. Заведено было подносить ей к праздникам презенты: платок либо гребенку, а то — кусок колбасы, сала шмат, самогон, если кому из деревни присылали. Не отдарись — жди воронка под окна. Зимой 41-го, когда немцы стояли под Москвой, Зинаида объявила, что сдаст всех. Пьяная шаталась по бараку, пинала в двери, выкрикивая: «Здесь коммунист живет, здесь комса окопалась, и здесь коммунист-активист-большевистская сволочь, про всех все знаю и на всех покажу, пусть только немцы придут». Так вот, сама Зинаида не знала тогда, куда подевался Галанов. Неосведомленность рождала нелепые предположения, соседи сторонились. Тоню не жаловали, и детей не привечали.

А Галя к ним ходила. Дружила с Галановой Ниночкой, одноклассницей. Очень привлекало ее убранство комнаты. Везде у Галановых лежали строченные салфетки, жестко накрахмаленные, ослепительно белые. На салфетках стояли статуэтки или вазочки. Галочку интересовало, как такой белизны добиться, да как накрахмалить, да где такое шитье берут. Оказалось, Тоня сама на машинке вышивала, себе и на продажу. Галочка решила, что вырастет и заведет швейную машинку, а крахмалить и подсинивать белье тут же попробовала, у нее получилось. Только мамка не разрешила.

Галочка под присмотром тети Тони сама вышла себе воротничок на купленное давно, еще к Первому мая серенькое платьё, накрахмалила, отутюжила. Надела красные туфли, они к тому времени все еще были чуть великоваты, собралась на вокзал. Но ее не взяли! Мамка назло не взяла, чтоб отцу досадить, потому что она, Галочка, — папкина любимая дочка. Уходя, он ей велел братьев беречь. Кому еще доверить? Лизка только и знает, что давать затрещины. Мамка молится, ничего вокруг себя не видит. Одна надежда на нее, на маленькую взрослую девочку. Галка мыла посуду и горько плакала. Через неделю мамка поехала в Кунгур, где на сборном пункте в сосновом бору за железной дорогой отец проходил учебные сборы, дожидаясь отправки на фронт. Зачем ездила — неизвестно, только Галю опять с собой не взяла. Так и не встретилась с папкой до самого 1946 года, когда он приехал в Зязелгу забрать в город Галку и Толика.

В Зязелгу пешком

Первая военная зима закончилась плохо. Два младших брата — Генрих и Рудик — умерли, оба от поноса. Галя стеснялась иностранных имен, поэтому потерю братьев пережила с некоторым даже облегчением. Приходилось из-за них часто врать. В продуктовой очереди все время кто-нибудь спрашивал: сколько тебе лет, как братика зовут? Они с Лизкой договорились называть Генриха Геной, а Рудика почему-то Витей. К началу весны, еще снег не сошел, обоих мальчиков не стало. А после сорокового дня, как раз цвела черемуха, объявилась в бараке бабушка.

Бабушка Феофилакты пришла из деревни, чтоб в деревню же и увести городских внуков Лизу, Галю и Толика. Буквально пешком. Собрались быстро, а шли, наверное, неделю. Да больше! Километров двести шли. Подсаживались кое-где на подводку, ночевали у крестьян в сенях и на сеновалах. Отцвела черемуха, за ней калина, и одуванчики тоже отцвели. Ночи стали совсем короткими —

прежде Галя такого не замечала, а в дороге очень даже заметно стало: спали они пока темно, и никак не успевали выспаться, потому что короткие ночи в июне.

Бабушка Феофилакты (велела звать себя баба Фоня) была страшноватая: вся в черном, волосы тучей — кудрявые, седые; нос тонкий, длинный, глаза глубоко посажены, щеки впалые. Внуки, никогда прежде про бабушку не слышавшие, заподозрили, что она ведьма и может их съесть в конце концов. Про избушку на курьих ножках они читали и все ждали, когда баба Фоня, углядев на опушке свое ведьминское жильё, скажет «встань ко мне передом, к лесу задом». Но выбора у них не было, мать велела идти, а бабушка вела себя как нормальная старушка, не колдовала. Постепенно дети стали к ней привыкать. Толика бабушка порой несла на закорках, когда тот выбивался из сил, а ночлега не предвиделось. Пока шли, Феона учила внуков искать съедобную траву, потому что продуктов в дорогу взяли мало. Карточки вперед отоварили на два дня. Оставшееся до конца месяца содержание Екатерина собиралась отovarить в положенные сроки и засушить сухарей. Галя с Лизой горевали по поводу карточек, но имели расчет — в деревне жизнь сытая. Девочки думали, придут в деревню и нарвут себе в поле хлеба. Лизка собиралась нарвать побольше черного, засушить на зиму и вернуться богатой в город. Сухари можно было бы продать на черном рынке или выменять на них сало. Галя хотела белых булок, лучше таких, которые посыпаны сверху корицей. Заспорили. Суровая Лизка надавала Галке тумачков, в конце обе сошлись на том, что вкусней всего белая «городская сайка», саяк они нарвут в первую очередь, а потом остальное, сколько захочется, ну и на сухари тоже. Обе удивились, узнав что «хлеб» не буханками, не булками, а совсем как трава растет, и до саяк ему еще зреть да зреть. Вот это стало горьким разочарованием. По радио всегда говорили: растет хлеб, вырастили хлеба столько-то тонн, убрали хлеб полностью. Зачем говорить, если все не так?

Мать Екатерина нагнала их за день до Зязелги. Лизу решили оставить в селе Печмень у чужих людей в няньках. Лизка ревела, боялась, что убежит. А куда там бежать? Так и прожила до конца войны, битая порой, да все же почти сытая и кое-как одетая, в семье. Это обстоятельство Галя потом ставила Лизе в упрек и не позволяла ей говорить, будто та в войну натерпелась горя. «Настоящего горя ты, Лизавета, не знала», — говорила Галя старшей сестре. У них с возрастом случился перевертыш: младшая Галя укрепилась в моральном превосходстве и оплатила за все тумачи, полученные от Лизы в бесправном детстве. Называла она это «поставить на место». Поставленная на место Лиза опускала голову и ворчала: «Да где уж нам!»

В Зязелгу привели Галю с Толиком. Первым делом бабушка показала свою бывшую усадьбу. Катерина всплакнула, а Феона сухим глазом посмотрела на нее и сказала:

— Нечего теперь нищим-то из дому таскать? Все войдем в царствие небесное. В ушко — как по маслу. Твоими молитвами.

В моем детстве деревне Зязелге отводилась роль первейшего царства-государства. Вытеснила она Тридевятое вместе с Тридесятым на второй-третий план. Сказочный ширпотреб, затасканный кинематографом и массовыми тиражами Детгиза, не шел ни в какое сравнение с эксклюзивной волшебной страной Зязелгой, населенной удивительными людьми, животными и рыбами.

Мама покупала в магазине топленое молоко в треугольном картонном пакете 0,5 л, наливая в горячий крепкий чай, и пригубив рассказывала о том, как Тимофевна позвала ее читать письмо с фронта. Позвала читать и угощала чаем с топленым молоком. Мама — воспитанная девочка — сначала читала и только потом смаковала маленькими глоточками восхитительный напиток вприкуску с тонюсенькими сахарными осколками, а второй стакан пила без сахара.

— Две ложки тебе положу, — говорила мама, размешивая мой чай с молоком. — А то вкус не прочувствуешь.

Я пила сладкий молочный чай и слушала в который раз про письмо с фронта. Я училась уже классе в шестом, когда задала наконец мучивший меня вопрос, почему солдатская мать сама писем не читала. Оказывается, у нее зрение ослабло, а в деревне очков не достать. Понятно.

С двумя стаканами у Тимофевны полагался один маковый калач. Мама съедала половину, а другую уносила Толику. Несла очень быстро — бегом, потому что калач в кармане крошился и руки сами таскали в рот крошки, не добежишь — калач кончится, чем Толика кормить? Сын Тимофевны пропал без вести под Сталинградом, чаепития закончились. К весне мама с Толиком остались вовсе без еды, пожелтели и опухли.

Зязелга перекочевала из моего младенчества в детство, через отрочество — в юность и захватила существенную часть взрослой жизни. Главным образом внушалась мне мысль, что у нас отобрали мельницу, позже к списку имущества прибавилась маслобойка. Для наглядности мама даже взбила однажды купленные на рынке сливки — показала, как делается масло. Год от года мама дополняла сказание о Зязелге новыми подробностями. Хотя, пожалуй, содержание не сильно изменялось, просто я сама, взрослея, усваивала новые детали, задавая вопросы, уточняя порядок событий, проявляя облик местных старух в онучах и стеганых фуфайках, масть лошадей, вкус ягод, цвет черемух, глубину снегов и туманов, в которых тонула Зязелга зимой, весной, летом. Миф о Зязелге стал главным мифом моей жизни. Моя частная история произрастала из нескольких лет Зязелги, как вся европейская цивилизация из трех дней Иерусалима. Хотя есть более удачное сравнение — с древним Новгородом. Великий Новгород, как и Зязелга все же был на самом деле, а в существовании Иерусалима и прочих Парижей-Лондонов я большую часть своей жизни сильно сомневалась. Так вот, Зязелга по причине своей

исторической значимости в какой-то момент стала ассоциироваться у меня с русской древностью. Учась в третьем классе, я даже предприняла попытку посетить Зязелгу с целью найти там берестяные грамоты. Книжку о новгородских раскопках я взяла в городской детской библиотеке на полке для старшеклассников. Короткая тщательно выстроенная научно-популярная повесть очаровала меня так же глубоко, как мамыны бесконечные и, в общем-то, бессистемные рассказы. Сложив воедино то и другое, я принялась готовиться к экспедиции «на юг области», чтобы там погрузиться в карстовую воронку, раскопать из нее вход в карстовую пещеру и достать оттуда новгородские берестяные грамоты. Определенное влияние оказала Кунгурская ледяная пещера, куда родители возили меня в каникулы. Там я получила представление о масштабах предстоящих поисков. Начала с заготовки продуктов; похоже, тут сказалось мамино основополагающее. На том и погорела. Подельницей избрала я одноклассницу Таню, проживавшую в частном доме с дровяным сараем. В сарае в поленнице мы с ней всю зиму прятали провиант: рыбные консервы, макароны, крупу, сгущенку. Закупали на деньги, сэкономленные от школьных завтраков. Все прочие карманные поступления также шли на пополнение продуктовой закладки. Экономили так: если у нас имелось 44 копейки на два бисквитных пирожных по 22 копейки, мы покупали одно пирожное. Съедали его пополам, а на оставшиеся деньги покупали что-нибудь в запас. Кроме съедобного приобрели упаковку свечей и несколько коробков спичек. В конце отопительного сезона дровяник опустел, а наша поленница рухнула, оголив тайный склад. Экспедиция накрылась. Потрясенные родители не стали нас с Таней наказывать. Наоборот, семьи познакомились и какое-то время сдержанно дружили на почве интереса к берестяным грамотам. С тех пор я ни разу не предпринимала попытку посетить сакральную территорию маминого детства. Тот мир оставался нетронутым, запечатанным в ментальной архивной папке под гри-

фом «прошлое». Доставать по листочку из той папки могла только мама, сама, когда пожелает. Из нашего настоящего не вело туда никаких земных дорог.

Зато в маленькой далекой Зязелге, не тронутой преобразованиями современности, по-прежнему сходились вместе сразу три реки, главная — Искильда, кишела рыбой. Рыбу там ловили фартуком, а у кого не нашлось фартука, ловили подолом, только с задраным подолом неловко на берег выходить, поэтому все же лучше фартуком.

В ближайших окрестностях Зязелги на склонах Печменского кряжа рос и обильно плодоносил кислой мелкой ягодой вишневый стланик, называемый местными жителями диковинным словом «вишенно», в карстовых воронках — сладкая клубника, а на опушках — душистая земляника. Мама пасла коров и каждый день набирала по целому чайнику земляники для бабушки Фони, у которой болели сердце и голова. Голова болела от избытка волос. Бабушкины дочери Валя и Таня выстригали ей пряди, чтобы облегчить непосильную ношу, но волосы снова нарастали кудрявой щеткой, вставали торчком, и уложить их в пучок становилось все трудней и трудней.

Удивительно, что тетю Валю, которая постоянно присутствовала в нашей жизни со всей своей семьей, я никоим образом не ассоциировала с той Валею, которую вытряхнули в январский снег из резной отцовской люльки. Сама тетя Валя про Зязелгу никогда не вспоминала, да и мама, кажется, при ней об этом не говорила. Если я пробовала завести разговор с ними обеими, Галя и Валя делали вид, что меня не слышат или не понимают. И только раз тетя Лиза обмолвилась, урезонивая меня:

— Да что уж, раз уж так вышло, нечего и ворошить.

— Что вышло, что ворошить? — вцепилась я, но тетя Лиза только поерзала на стуле под жестким взглядом мамы и добавила:

— Раскулачили, да и все.

Я поняла, что на самом деле речь шла о чем-то другом, о какой-то тайне, и поняла, что мне не расскажут.

Прошел год после водворения моей будущей мамы Гали в Зязелгу. Когда закончились все полевые работы, оставалось только пасти деревенское стадо на остатках луговых трав. Но после первого и второго снега кончилась и эта работа. Галя пошла в школу, повела и Толика. Шел 1943 год, война и жизнь. Накануне Октябрьских праздников откуда ни возьмись явилась в Зязелгу Екатерина. Она исчезла позапрошлым летом, почти сразу после водворения детей в избушку с крыльцом на солнечную сторону. Все, принимавшие какое-то участие в сиротах, почитали ее давно умершей. Галя, обнаружившая вдруг мамку молящейся в темном углу под образами, сильно перепугалась, приняла ее за привидение и сама стала креститься, отступая в сени, тихонько приговаривая «чур меня». Екатерина оказалась вполне живой, телесной, коротко остриженной после тифа и настроенной радостно на встречу с детьми. Бесхитростный Толик льнул к мамке, а Галя насторожилась. Заработала она летом некоторое количество зерна, муки, гороха. Насолила и засушила рыбу. Соль выменяла у эвакуированных на землянику. Земляники тоже засушила, и еще грибов вдоволь. Рассчитывала, что вдвоем с Толиком на этих харчах протянут до весны, а если еще будет приработок нянкой или письма читать позовут, так и вовсе с жирком перезимуют. Мамка — лишний рот. На нее тут не рассчитано. Зря тревожилась Галя. Екатерина погостила пару недель и ушла, сказав «надо мне». Так она говорила, отправляясь в храм на службу, еще в довоенной жизни, в Городе, где церковью почти не осталось, только одна еще на Егошихинском погосте не закрывалась в те годы. Галя поняла, что мамка пошла на моление. В дорогу Екатерине дала она крупу и горох из своих детских трудодней, сколько вошло в переметную суму. Да еще лепешек напекла сама Екатерина, невкусных, кислых. Посещение матери имело одно чрезвычайно важное значение. Принесла она письма от отца, адресованные по-прежнему в городской

рабочий барак. Значит, жив. Галя даже и не сомневалась никогда, что папка выживет, убьет всех немцев и вернется, но подтверждение в виде писем окончательно укрепило ее веру.

Гале исполнилось уже 10 лет. Она многое умела, ко всему почти была готова и страшилась только одного — голода, который грозил отнять Толика, последнего братика. Папка, уходя на фронт, велел ей хранить младших. Первая военная зима двоих забрала. Но Толика Галя не отдаст. Жизнью своей заплатит, а не отдаст. Придет папка с фронта, она и скажет ему: вот Толик, твой сын. Я его сохранила.

Самый странный, если не сказать страшный, из маминых рассказов о Зязелге относился к весне 1943 года. В избушке закончилась всякая еда. Пока были силы, Галя и Толик ходили в лес драть липовое лыко, там под корой находился влажный гладкий слой волокон, которые можно было сварить и пить мутный сладковатый настой. От него слипались кишки, но имитация пищи давала детям краткое успокоение. Сил пойти в лес не осталось. Заготовленное лыко они все обгрызли. Опухли и пожелтели. Галя догадалась, что дальше только смерть. В последний день, а выдался он солнечным, девочка вывела брата на крыльцо, раздела, и оба они голыми легли на теплые доски, подставив яркому свету рахитичные тельца. Сказалось Галино эстетическое чувство — умереть она готовилась красиво, чисто, с благодарью. Смерть девочка представляла по мамкиному святому писанию — как вознесение с потоком солнечного света на небо. Прозрачные от истощения, они с Толиком, пожалуй, так и вознеслись бы, да в тот самый час Кирилловна пошла за сеном к дальнему стогу.

— Зовут ее Ульяна Кирилловна, — повторяла мама. — Запомни это имя. Если бы не она, не быть тебе на этом свете. Может, жива еще. Если вдруг встретишь ее, поклонись, скажи спасибо.

Я обещала поклониться и сказать спасибо Ульяне Кирилловне, совершенно не отдавая себе отчета, как смогу ее узнать здесь, в Перми, и даже не задаваясь вопросом, почему бы самой маме не съездить в Зязелгу и не повидать Кирилловну, если она жива.

Догнать и перегнать

Мама не была человеком завидующим, но четко подмечала, у кого что лучше, чем у нее самой. Подмечала, брала на заметку и стремилась. Завидовала только двум вещам — высокому росту, это у нее на всю жизнь сохранилось, а в детстве еще — эвакуированным. В Зязелге во время войны образовались три социальные группы: местные колхозники, эвакуированные и Галя с Толиком — «ничьи». Лучше всего, по мнению маленькой, но приметливой Гали, жилось эвакуированным. Во-первых, привезли с собой много вещей из городской жизни. Во-вторых, им полагалось содержание и дрова от колхоза. В-третьих, они все были очень красивые. За две-три колхозные зимы красота не стерлась с городских лиц. Ленинградские и харьковские женщины как приехали, так и уехали красавицами, только слегка постаревшими. Но это же ничего!

Галя могла завидовать детям эвакуированных, хотя бы тому, что у тех были матери, которые лечили их от простуд, целовали, укладывали спать, готовили еду и давали в школу нехитрые завтраки. Но детей Галя не воспринимала как ровню. Она вступила в необъявленное соревнование со взрослыми женщинами, которые, конечно же, не догадывались о своих постыдных провалах и редких случаях, когда Галя не могла не признать их временного превосходства над собой.

Эвакуированные женщины не умели прясть, а Галя выучилась легко и прядла теперь лучше всех в деревне, что признавала и о чем говорила у колодца сама Ульяна Кирилловна. Эвакуированные женщины

не умели обращаться с коровами, боялись волков и не знали, где растут самые сочные ягоды, самые лучшие грибы. Они даже капусту квасить не умели. Галя все это знала и умела. Семян посадить капусту не достать, поэтому Галя собирала по огородам капустный лист, оставленный хозяйками после уборки урожая, и квасила у себя в избешке на зиму. Когда пришло лето и жатва, Галя так ловко управлялась с серпом, что ее хвалили перед всеми сам бригадир. А никого из эвакуированных бригадир не хвалил никогда. Косить траву должным образом не получалось у Гали. Роста не хватало и размаха плеча, так до конца войны и не набрала она стати, и грамоту за косьбу ни разу не получила. Зато неплохо работала граблями. Но и тут рослые городские женщины, не говоря о деревенских бабах, Галю вперед в соревновании не пропускали. «Ничего-ничего, — приговаривала Галя. — Вот придет папка с фронта, откормлюсь, стану большая и всем покажу, кто тут...»

На прокорм себя и Толика Галя зарабатывать умела. Хуже обстояли дела с одеждой. Лапти выменивала на пряжу, шерсть давали за работу, кое-какие тряпки находила в мусоре. Тряпки наматывала на ноги, лыком подвязывала. Когда году так в 1983-м я купила импортные роскошные босоножки с перекрещивающимися «римскими» ремешками, маме они напомнили детство. Мама с восторгом рассказывала, как ловко она с лыком управлялась, ну совсем как вот с этими босоножками:

— Тут зацеплю, перекину, а вторую лямку через пятку вперед и вверх, подогну, перехлест и вот так завяжу. Крепко, недорого!

Я уплывала по волне маминых ностальгических эмоций в светлое деревенское детство. Там все складывалось замечательно: когда волки приходили резать овец, мама-пастух, а летом она всегда нанималась пасти деревенское стадо, вынимала из берестяной сумы заранее приготовленную железяку и брякала ею по чайнику. Волки — такие смывленные! — понимали, что никакого оружия у мамы нет, и, слегка огрызаясь,

шли резать овец. К самой маме не подходили. Только ее за овцу потом поколачивали хозяева. Но не сильно, для острастки.

В 1944 году к 7 ноября ночью Галю колхоз наградила за ударный труд атласной ленточкой и куском мыла. Галя впервые за много лет вымыла голову не щелоком, а настоящим мылом, разрешила ленту на две, заплела косы, закрепила их лентами на узелок — на банты длины не хватило, и страшно нарядная пришла в клуб на танцы. Все, кто собрался в клубе, говорили, что девка эта самая работающая, мыло с лентами ей дали не зря. И даже эвакуированные смотрели уважительно. У них-то мыло давно кончилось.

Но с одеждой все равно все было очень плохо. Весной 44 года, когда еще не начались полевые работы и брат с сестрой ходили в школу, выдался сухой теплый денек. Галя устроила стирку. Стирать приходилось, сняв с себя все, сменки дети не имели. Поэтому и денек требовался сухой — чтоб до вечера одежда просохла. Постирала, а тряпочки в воде разошлись на клочья — испортились в прах. Стоит голая Галя над тазом и плачет. Мама вспоминала об этом с таким заразительным смехом, что я, учитывая смысл сказанного, не вполне могла разделить ее веселье.

Только представьте: у вас распалась в прах последняя одежда и негде взять другую. Что тут смешного? Но еще в самом начале истории про Зязелгу, летом 1942 года, когда бабушка Фоня вела внуков в деревню, в Галином вещевом мешке свернутая лежала географическая карта С.С.С.Р. Именно так — с точками после каждой буквы. Карту Гале подарили в школе за успешное окончание первого класса. Красный Советский Союз располагался поверх всего разноцветного мира, как бы нависая над Индией, Африкой, далеко внизу оставляя одинокую Австралию вместе с Антарктидой, совсем ни на что не годной. И до того велика была та карта, что если ободрать бумажное изображение с тканевой основы... Ну да, из карты Галя сшила себе платье, а Толику штанишки. На зиму у Толика был отцовский пиджак — мамка принесла из города — длинный и

широкий, как пальто. У Гали — ватник погибшего односельчанина. Выменяла у вдовы на сушеные грибы. Грибы очень высоко ценили заготовители. Давали за них соль, иголки для шитья, нитки. Колхозным-то бабам некогда собирать дикоросы, они с утра до ночи на работе. А Галя научила Толика собирать белые, обабки, красноголовики для сушки и сыроежки — на похлебку. Он собирал, пока сестра пасла стадо. Волки его не трогали. Так вот на сушеные грибы-то и выменяла Галя себе добротный ватник. Длинный — ниже колен. Для тепла служили ребятам вязаные безрукавки. Галя сама связала, когда заработала шерсти за пряжу. Можно сказать, жили они справно. Мамка порой навещала, хорошо, что не часто, раз два в год. Отец писал прямо ей, Гале, в Зязелгу бодрые письма с фронта, и она складывала их в шкатулку.

Старуха Тимофевна после того, как единственный сын пропал без вести под Сталинградом, немножко тронулась умом. Это все замечали. Гале она принесла ту красивую резную шкатулку, что-то бормотала о пропавших бумагах и каялась, что выбросила их в печку. Просила прощения — то шепотом, а то в крик кидалась. Галя хотела узнать, за что прощение. Старуха несла околесицу, а потом расплакалась и упала Гале в ноги. Шкатулку пришлось взять, а Тимофевну «простить». Бабушка Фоня позже, уже при смерти, рассказала про жестокое раскулачивание и признала шкатулку — муж Яков сам резал и собирал, и в той шкатулке хранились письма от разлетевшихся по миру кулацких детей. Тимофевна — расчетливая! — думала, что если прощение вымолит и добро отдаст самой несчастной из швецовских последышей, то Бог вернет ей сына. Просчиталась. Сама-то Галя вовсе не воспринимала свою жизнь как несчастье, потому и не сработало задуманное. Обменять деревянную шкатулку на живого сына у Тимофевны не вышло. Зато у Гали получилось сохранить и вырастить брата Толика. На шкатулку она выменяла миску меда, когда мальчик простудился, собирая в лесу хворост. Вылечила.

Разочарования

Дядя Толя, когда вырос, стал пьяницей и алиментщиком. Отсидев на зоне, сколько положено по первой ходке за неуплату алиментов, он, как только освободился, приехал к сестре Гале, то есть к нам, ко мне, маме и папе. Сработала привычка: если что — сразу к Гале. Дома родителей не было, я позвонила маме на работу, она сказала: «Не пускать! Пусть идет туда, где был». Я так и передала ему слово в слово через дверь. Но дядя Толя не мог пойти обратно туда, откуда его сегодня выпустили. Он устроился на лестничной клетке, ждать. Я подходила к двери, смотрела в глазок, и дядя Толя сразу поворачивал совершенно круглую стриженую голову, смотрел на дверь, на глазок. Чувал! У него был круглый, чуть сбитый набок нос на круглом лице и дугообразные брови над круглыми пустыми глазами. Рот его сложился жалостно в букву «О». Я жалела дядю Толю, глядя на его покатые, как у бабы Кати, плечи, мягкие, безвольно опущенные под казенным ватником. И в то же время я ощущала страх. Страх постепенно рос и становился больше жалости. Мама отказалась от брата, которого в Зязелге так сильно любила, что потратила на него все свое детство. Выкормила, сохранила и разочаровалась — бросила без сожаленья. По маминому голосу в телефонной трубке я понимала, что сожаленья у нее нет. Я чувствовала, что мама никогда не любила меня так же беззаветно, как брата Толика. Просто не требовалось в наших обстоятельствах такой большой беззаветной любви. Не требовалось драть и грызть лыко, защищаться от волков греющим чайником, таскать воду коромыслами на коровник, зарабатывая бутылку молока и кусок хлеба. Вот из-за этой воды коромыслами, из-за тяжелых не по возрасту ведер и не выросла мама, как мечталось, не дотянула даже до метра шестидесяти. Хотя с чего она взяла, что стала бы высокой? Баба Катя мне по плечо. Она, конечно, согбенная старушка, но все равно — наследственность не преодолеть одними только мечтами и намерениями. Дядя Толя тоже не вырос, хотя ве-

дер в коровник не таскал. Невысокий, сидел и сидел он на лестнице. Приходили соседи с работы и перешагивали через него. Любопытствовали, кто, да к кому, да зачем. Пришли взрослые парни с нашего двора и стали с ним разговаривать. Притащили целлофановый пакетик с пивом, угостили, расселись по ступенькам слушать про зону — закурили. Я забросила уроки, прилипла к глазку. Витька Плотников позвонил в дверь, сказал, мол, зря дядю родного в дом не пускаю.

— Мне родители не велят, — сердито отвечала я через цепочку, досадуя, что теперь весь двор узнает, что мой дядя сидел в тюрьме. Крындец репутации хорошей девочки.

Я терзалась стыдом, жалостью и страхом. В тот день я догадалась, что все мамины угрозы, звучавшие в плохие минуты нашей жизни, угрозы отказаться от меня, выставить на улицу и забыть — чистая правда. Меня выставят на улицу и забудут, если я когда-нибудь не оправдаю надежд и опозорю маму на весь белый свет. Мамин «весь белый свет» не слишком велик, позор такого масштаба я вполне могла произвести даже невзначай, во всяком случае, ощущала себя способной на такое. И что? Буду сидеть, как дядя Толя, на лестнице? Нет, я умру — решила и задумалась, как именно я умру, после того как опозорю маму.

Родители вернулись домой поздно. Мама нарочно позвала папу в кино, а после сеанса они шли пешком. На что рассчитывали? Дядя Толя не ушел. Он дремал, сидя на газетке, привалившись к стене, крашеной синей масляной краской. Папа удивился и страшно обрадовался. У папы когда-то был родной брат, но утонул еще мальчиком. Утрата осталась невосполненной, поэтому каждого маминого родственника папа не просто ценил, он впадал в восторг от встреч и тяжело переживал расставания, хотя в разлуке чувствовал себя вполне сносно. Ясно было, что мама не рассказала ему о визитере, а теперь уж делать было нечего — впустили в дом, накрыли стол. Мама исполняла ритуал гостеприимства с поджатыми губами, не глядя ни на кого. Утром дядю Толю выставили, то есть увели с собой, чтобы по дороге на работу на-

править к бабе Кате. Пусть там устраивается. Дали папину одежду, переодеться из тюремного, папино белье и одеяло с подушкой и сколько-то денег. На прощание вполне удовлетворенный приемом Толя, чувствуя себя нарядным в папином мало ношенном плаще, окинул восхищенным взглядом нашу квартирку, обставленную по последней моде 70-х: с сервантом, телевизором и коврами во всю стену. Окинул и сказал:

— У меня все это будет через полгода. Но через полгода он уже пошел на вторую ходку, такую же мелкую, как первая. Мама не читала его жалких писем. И не сжигала, а бесстрастно выбрасывала их в мусорное ведро. Дальнейшая судьба дяди Толи осталась невыясненной довольно долго.

А моя судьба, наоборот, обрела ясность с той неприятной встречи. Насмотревшись на мыкавшего горе Толика, я много-много лет руководствовалась принципом — пусть хоть что, но только бы мама была довольна. Привыкла и даже забыла, зачем мне это надо, а надо было для того только, чтоб не оказаться на лестнице перед запертой родительской дверью.

Зязелга, оживляемая мамиными навязчивыми воспоминаниями, вставала во весь рост нереально прекрасная, эталонная по способу жизни, праведной и тяжелой. Зязелга была уже лучше всего на свете и все на свете обесценивала фактом своего превосходства. Она овладевала моим сознанием и проникала причудливыми метастазами в подсознании.

Белые колени

Никогда я не ставила под сомнение написанные мамой прелести деревни Зязелги. Ни разу не усомнилась в ее необъятных природных ресурсах. Ничто из упомянутого не вызвало моего недоверия. Сказанное мамой, по заведенному в семье порядку, никогда не подвергалось сомнению, а тем более сказанное про Зязелгу. Единственное, что я осмеливалась критически осмысливать, — роль, а вернее, отсутствие роли

бабушки. Бабушка Феона привела внуков в деревню и бросила без участия?

— У нее свои дети были, — уклончиво отвечала мама. — Бросила нас не бабушка, а баба Катя.

Свою маму мама не называла мамой, даже обращаясь к ней напрямую, использовала междометья и местоимения, а в третьем лице — баба Катя. Баба Катя вызывала у мамы жалость, досаду, но чаще — раздражение. Это ничего. Мы с папой тоже часто маму раздражали, я так вообще доводила «до белых коленей». Мама кричала: «Ты опять довела меня до белых коленей!» — чем разжигала мое любопытство. Я очень хотела увидеть белые колени, во-первых, а во-вторых, изумлялась устройству маминого организма. Все-все люди в расстроенных чувствах хватались за сердце, особенно в кино такое часто бывало. Все страдали сердцем, которое «кровью обливалось», а мама страдала коленями! Я даже вывела теорию: у мамы колени становились белыми, потому что кровь отливала к сердцу. Ну как иначе-то? Я очень хотела бы рассмотреть и оценить белизну коленей, однако в подходящий для этого момент либо колени оказывались вне доступа, либо я — в слезах.

Когда однажды я, нашкодив в очередной раз, спряталась под письменным столом, а мама меня туда пинала, колени наконец удалось рассмотреть. Они вовсе не были белыми. Обратиться за разъяснением к маме я сочла небезопасным. Все узнала от деда — у меня кроме бабы Кати имелись еще родные дедушка и бабушка. Так вот, дед, потомственный металлург, объяснил, что бывает красное и белое каление железа. Белое — это когда уж совсем горячо. Следовало говорить: «Ты меня довела до белого каления». Попытка донести до мамы эту информацию привела к очередным «белым коленям».

В Зязелге у мамы колени белели зимой от мороза. Ватник, довольно длинный, не мог заменить штаны и чулки, коих маленькая Галя не имела, и взять было неоткуда. Снизу лапти, лыко, тряпица, сверху платок, посредине ватник, а пока добежишь до школы с голыми

коленками, они примораживаются, белеют. Учительница всегда держала для Гали место возле печки. Знала, что хуже нее никто во всей школе не одевался. И никто во всей школе не учился с таким рвением, как Галя. Деревенские по природе своей относились к наукам с легким презрением. Арифметикой козу не накормишь. Эвакуированные помнили о своей прежней довоенной школе, с которой местная никак не могла равняться. Галя же училась рьяно, ей предстояло, когда отец вернется с фронта, поехать в город учиться на артистку. К тому же именно школой Галя награждала себя за упорный труд. Выходя к доске, она как будто вышагивала из тяжелой преждевременной взрослости в свое несостоявшееся детство. Школа служила подиумом, сценой, трибуной, с которой Галя заявляла о своем превосходстве перед всеми, кто ее окружал и унижал. Склонность к обучению она переняла, должно быть, с генами от Екатерины, и одержимость тоже от нее, только без религиозности.

С тем же рвением, с каким Екатерина отрицала все мирское, материальное, Галя, наоборот, мирское — в основном съедобное — ценила и добывала. Как только появлялась весенняя нужда в рабочих руках, уроки для Гали заканчивались. Она шла на заработки. Дотягивала год на домашних заданиях. И все же годовые оценки у нее выходили самые лучшие в школе, если не считать эвакуированную девочку, у которой мама работала учительницей. Толик продолжал ходить на уроки до самых каникул, ничем, однако, не выделяясь из ряда сверстников. Да и ладно, хоть под присмотром.

Разрыв отношений с родней произошел как раз из-за Толика. Еще в 1942 году, в начале первого деревенского учебного года, Галя застала на школьном крыльце унижительную сцену. Бабушкины дочери Валя с Галей «кормили» племянника шаньгами. Шаньги — разновидность ватрушки с тонким тестом и пышной картофельной начинкой, сдобренной топленым маслом и сметаной с яйцом, — пекла баба Фоня. До Зязелги Галя шаньги знала, в бараке некоторые женщины пекли, но таких вкусных ни у кого не

выходило. Так вот, взрослые девки Таня с Валею — одной тринадцать, другой почти пятнадцать лет — ломали шаньги и кидали на землю, а шестилетний Толик как щенок бегал на четвереньках и собирал куски под хохот других школьников. Танька еще и лаять его заставляла, и «служить». Толик был голоден. Екатерина ушла на моление в июле, а тут уже сентябрь кончался. «Ничьи дети» толком не понимали, что им делать, ждать мамку или идти побираться. Удавалось найти полусгнившую картошку, лист капустный на огородах, грибы — тем и питались, да и то не каждый день. Смешной глупый Толик искренне радовался и шаньгам, и общему веселью. Галя в кровь расцарапала лицо младшей — Вальке, а Таньку повалила на землю, оседлала, затолкала ей в рот шаньгу с грязью и пока не оттащили, била кулачками в лицо, яростно повторяя: «Будь ты проклята, будь ты проклята во веки веков, и потомство твое будь проклято до седьмого колена». У кого научилась так страшно проклинать, Галка не помнила. Но Танька действительно счастья в жизни так и не увидела. Узнав о нападении городской внучки на дочерей, да еще и о проклятиях, бабушка Феона велела Катерининых последышей на порог не пускать. Разумеется, мама об этом происшествии не рассказывала. Она с пристрастием цензора вымарала из своей идеальной жизни в Зязелге все, хоть сколько-нибудь порочащее это святое место. Проклятая Татьяна, рано овдовевшая, в горький час бестолковой жизни рассказала об этом дочери, и та, поверив в силу злого слова, смирилась с неотвратимостью своего женского несчастья. Родила ребеночка от солдата-срочника. Тот и не узнал, кажется, никогда, что имеет сыночка по месту службы. Нелюбимыми прожили они, мать и дочь, мальчика вырастили, а в 90-е он сделался наркоманом и умер даже раньше бабушки Тани. Так что все кончилось третьим проклятым коленом, седьмого не дождалось.

Конфузу с шаньгами предшествовал еще один некрасивый эпизод. Вспомнила об этом тетя Валя, когда мамы уж не было в живых. Вселившись в убогую избушку, дети

Екатерины, как и следовало ожидать, пошли по деревне знакомиться со сверстниками, родней и свояками. Галя надела городское платье со строченым воротником и красные кожаные туфельки. Туфельки уже маловатые и порядком поношенные, но для деревни диковинные. Нарочитая нарядность так сильно выделяла Галю из общего ряда живущих в Зязелге детей, что подружиться с ней никто не решался. Особенно плохо воспринимались даже не туфельки, а рассказы Гали про то, как вернется с фронта ее отец и привезет целую машину арбузов, вот таких, как нарисованы в букваре. Благодаря широте души и большим шоферским возможностям Димитрия, Галя с Лизой чувствовали себя в заводском бараке детьми привилегированными. Добиться такого же положения в Зязелге не получилось. Тут никто не верил ни в арбузы, ни в отца, который привезет их с фронта. На фронт ушли все почти здешние отцы, и похоронки во многие избы уже прилетели. А в арбузах жители Зязелги вовсе не нуждались.

Наконец пришло время сбора колосков после жатвы. Все ребятишки, даже дошкольники, снарядились в поле. Пришла и Галя. В туфлях! Бабушка Феона специально для такого случая припасла для внуков лапотки. Толика одели. Но Галя категорически отказалась переобуваться, пиналась во все стороны и даже укусила кого-то из доброхотов. Колосьев она много не собрала, а туфли от прогулки по стерне, по мокрому полю, развалились. Поплавав, Галя похоронила свои туфельки на огороде у Кирилловны. Злые ребята подглядели, туфли вырыли и, надев на палку ошметки былой роскоши, бегали за Галей, дразня ее: «Эй, городская, девка баская, а ходит босая!»

«Ну как-то так, я точно слов не помню», — конфузливо хихикала старенькая тетя Валя. Ей ко времени воспоминаний шел 86-й годок. Похоже, Зязелга крепко держала и ее мозг разными занятными деталями, о которых повзрослевшие родственницы молчали много десятилетий. Молчали и дружили семьями. Не исключено, что туфельки вырыла из «могилки» сама тетя Валя. Но признаваться в этом она не стала, а я не спросила.

Так вот, дети не верили, а дед мой с фронта вернулся живой, однажды только слегка контуженый. Служил он шофером, возил снаряды на передовую. Свое везенье объяснял просто. В самом начале, когда бои шли под Москвой, он попал под обстрел. Укрылся в блиндаже. Вокруг снаряды рвутся. А он сидит в углу и с Богом разговаривает. Разговаривает в том смысле, что Бог дал ему негодящую жену и пятерых детей. Раз дал, то должен сохранить Димитрия в целости до конца войны, потому что детки с такой матерью не выживут. Не поднимет их Катерина. Пропадут детки. Бог пока Димитрия слушал, пропустил снаряд, летевший прямо к блиндажу. В последний момент только вступился. Остался от блиндажа, а там человек пять укрывались, один только угол, в котором сидел мой дед Димитрий. На том и прекратился обстрел. Во всяком случае, дед ничего больше не слышал. Через неделю слух у Димитрия восстановился. Он даже в госпиталь не попал. И с того случая — ни одной царапины. Бог слышит, когда ему прямо говорят, чего надо и зачем.

Мама — гордая женщина — никогда никому не говорила прямо, чего ей хочется. Все должны были догадываться. Вот сидит она в гостях у моей бабушки за столом и хочет кусочек фаршированной рыбы. Хочет — не говорит. Пусть сами догадаются, что надо предложить снохе кусочек самого изысканного блюда. А когда предлагают — отказывается. Такой в Зязелге этикет, не признаваться ни за что, чего тебе хочется на самом деле, а принимать желаемое только с третьего раза. Отказалась — ждет, что снова предложат, но ей больше не предлагают рыбы. Ну, коли не хочет, зачем навязывать? В первый раз она рыбы так и не попробовала. Потом папе все высказала с обидой. Он как узнал, что три раза предлагать надо, взял это дело под контроль, стал по три раза предлагать. Поела мама рыбы. Ждет, что свекровь с ней рецептом поделится. Ждала-ждала, так и не дождалась. Я, когда подросла, все вызнала у бабушки, маме передаю, а она отказывается знать,

говорит, мол, пусть эта еврейка старая своей рыбой сама и подавится.

— Разве бабушка еврейка?

— А кто ж она? Я этих евреев за версту вижу. Хитрые, и ведь устраиваться умеют.

Но мне кажется, мама ошибалась насчет бабушки и насчет евреев тоже. Я родилась на втором курсе и жила до четырех с половиной лет у бабушки с дедушкой. Мама на выходные приезжала к нам. Приедет и давай полы мыть, стирку заведет. Ждет, что ей свекровь скажет: «Галочка, отдохни, поиграй с дочкой, погулять ее выведи, а стирку-уборку я сама закончу». Ждет, а не дожидается. Бабушка только диву дается, говорит подружкам:

— Что за мать такая, неделю ребенка не видела, а ведь не подошла даже, ей бы только чего грязного найти да стирку на все выходные завести, будто я в простые дни времени не выберу.

— Это она специально перестирывает, чтоб тебя укорить, мол, засранка ты, — догадываются бабушкины подруги, подливая масла в костер тлеющей неприязни.

Они так и не поняли друг друга. Обиженная мама, немного пережив свекровь, сумела отравить ее последние года, полностью отлучив от общения с сыном и внучкой. Вот этого я не могу про себя понять, даже зная силу маминого манипулирования окружающими. Я не должна была...

Не отпускает

А Зязелга меж тем обретала новые черты и нюансы. Достоинства Зязелги выпячивались теперь методом отрицательного сравнения. В Абхазии, в Новом Афоне я кормила хлебными крошками огромных сонных карпов, дремавших в причудливо разветвленных каналах. Мама тоже покормила и заметила, что в Искильде (главная водная артерия Зязелги) в хорошие годы рыбы все-таки водилось больше, чем тут. В Ленинграде внимание мамы привлекли Пулковские высоты. Она заявила, что Печменский кряж, у подножия которого раскинулась своими

двумя улицами Зязелга, был выше этих «так называемых высот». Единственное из маминых утверждений, поддающееся проверке, я проверила. На самом деле Печменский кряж выше и даже значительно выше Пулковских высот. К тому же на склонах Печменского кряжа полно ягод, а на Пулковских высотах ни клубники, ни вишенно не найти. Какое тут может быть сравнение?

Даже родная папина Нытва — и город, и река, и заводской пруд длиной 11 километров — в чем-то, хоть и незначительно, уступали Зязелге. Я к Нытве испытывала такую глубокую привязанность, что извести ее не могла б никакая самая золотая в мире страна, никакой самый лучший город, ни самая привлекательная местность. Перед этой живой горячей ежедневной привязанностью к Нытве отступала и Зязелга, постепенно становясь уже притчей во языцех. Ничего нового там не происходило, сказки о прекрасном голодном (как это совмещалось?!) детстве, рассказанные по двадцать восьмому разу, перестали радовать новизной, сюжеты закончились. Но Зязелга не хотела сдаваться. Она стала сниться!

Первый сон поднял маму среди ночи. Поднял грубо — тахикардическим приступом. В нем сообщалось, что из Зязелги ушла река. Та самая Искильда, кишевшая рыбой, ушла. Через неделю случился сон номер два — в Зязелге отмечали престольный праздник, Петров день. Ничего особенного во сне не случилось. Он был про то, как расставляли столы и ходили по очереди друг к другу в гости из одного конца деревни с песнями в другой конец, с которым по будням враждовали. В результате перемешивания в финале гуляний непременно дрались на кулаках тот конец с этим. Мама уже все это рассказывала. Но тут драка происходила во сне. Дрались тут знакомые мужики, не из маминого детства. Наверное, те, которые не вернулись с фронта, все же во сне вернулись и подрались друг с другом вместо пацанов, сохранявших традицию соседского мордобития в тяжелые военные годы. Вот все и объяснилось. Но!

— Пир во сне не к добру, — сказала мама и сильно расстроилась.

Обошлось на этот раз без приступа. Ровно через неделю явился третий сон. На этот раз по Зязелге ходили трамваи, а вместо обычных изб стояли избы-небоскребы. Перед самым пробуждением по улицам, буквально по обеим, потекла нефть, жирная, как кровь.

— Человеческая кровь и скотская вместе, — уточнила мама.

Рассказав новое сновидение, она выпила пустырника, и все бы ничего, но по радио стали передавать новости, и в новостях первым номером шло сообщение о том, какое крупное месторождение нефти разведано в районе села Печмень.

— Печмень! Печмень! — Закричала мама, схватившись за голову. — Это же совсем рядом. Зязелгу нефтью зальёт, не будет ничего, ни реки, ни ягод. Сон в руку! В руку!

Папа пытался разрядить обстановку, пошутив насчет трамваев и небоскрежных изб, которые теперь-то уж точно появятся в Зязелге, и расцветет она, как те Арабские Эмираты. Не помогло. Мама страдала. Посмотрев сны, она замкнулась и замолчала.

Не совсем замолчала, а частично: перестала рассказывать счастливые истории про Зязелгу. Прошло время. Мы стали уже забывать это зудящее название — Зязелга. И прошло еще какое-то время. Мама вышла на пенсию. Два года истово занималась своей новой дачей. Добилась высоких урожаев и развела такое кролиководческое хозяйство, что бросить его не решалась даже для поездки в Город с ночевкой.

Однажды, приехав на дачу к выходным, я не застала там мамы. Папа, он выглядел несколько обескураженным, нервно хохотнув, сообщил, что мама уехала в Зязелгу.

— В ту самую?!

— Ага.

— На чем? — я, будучи взрослой женщиной, все еще пребывала в твердой уверенности, что в Зязелгу добраться можно разве что на ковче-самолете.

— Ты не поверишь, туда ходит рейсовый автобус. Четыре рейса каждый день с авто-

вокзала. Билет 205 рублей 50 копеек. Не то чтобы в саму Зязелгу, а транзитом через нее проходит. Остановка по требованию.

— Вот так, значит?

— Значит, так. Они обе уехали. С Валентиной.

Тетя Валя вернулась из поездки окрыленная идеей получить компенсацию за разорение семейного гнезда, а мама — просто окрыленная. В Зязелге ее сразу, как только сошли с автобуса, узнала дочь той самой Ульяны Кирилловны. А потом и остальные узнали. Если верить маминым рассказам, гуляла по этому поводу вся деревня. Ну или самая старшая часть местного населения, та часть, которая способна гулять, а не падать в алкогольный угар сразу и до утра, а потом опохмеляться до запоя.

— Мельницы нет, — сияя глазами говорила мама. — А насыпь через луговину, по которой дорога до мельницы шла, сохранилась!

Почему-то для нее это было важным. Но самое главное — Егорка, который свел в могилу Якова Швецова, тот самый, который захватил мельникову усадьбу и выгнал из деревни Феофилакт с ее скорбными сачками, умер страшной смертью.

— У него, говорят, глаза из орбит вылезли, судорогами его скрутило, и язык вывалился, так он вроде бы как от языка своего и задохнулся, а то ли даже и подавился им, — со скорбным лицом передавала мама деревенские сплетни.

Лицо скорбное, а радость куда денешь? Рвется наружу радость от свершившейся наконец справедливости. Та мельница и усадьба, и люлька, из которой вытряхнули в снег тетю Валу, преследовали меня все мое детство, и отрочество, и значительную часть юности. Я обнаружила вдруг, что сильно по ним соскучилась за годы маминого воздержания от воспоминаний о Зязелге.

— А речка? А рыба?

Тут мама потемнела лицом и сообщила трагическую весть: речка Искильда ушла из Зязелги.

— Как только плотину снесло ледоходом, мельницы давно уж нет, обрушилась, а пло-

тина стояла, так и ушла речка. Полноводная такая была, я ведь помню. Рыбу фартуками ловили. А сейчас нет ее. Болотина да ручеек сочится. А ведь три речки-то было, Искильда с двумя притоками! И нет ничего. Одно сплошное болото. А рыбу фартуками ловили.

Осенью мама заболела, и на следующий год умерла.

Последний визит

Путь на русский Юг, к Черному и Азовскому морям, лежит либо через Казань, по правому берегу Камы, либо через Башкирию и Самару — по левому берегу. Мы поехали по левому, вроде бы так спокойнее, машин меньше. Двухполосное добротное шоссе прошивает насквозь Тулвинское поречье, обжитое башкирами из племени гэйне еще до прихода на Урал русских переселенцев. Хорошие места, с плодородной землей и нефтеносными недрами. Не сильно богато здесь лесом, но достаточно, чтобы строить добротные дома. Местность холмистая, как раз такая, чтоб и простор ощутить, и не скучно глазам следить за волнистым многослойным горизонтом, за переходом тона от ярко зеленого к сине-черному и голубому, и дымчато-серому, тающему на границе с небом.

Сердце екнуло при слове «Печмень» на указателе вправо. Я повела носом — будто бы потянуло сладким клубничным духом, речной тиной, деревянной избой. Не через кондиционер, нет, просто мама умела рассказывать! Минут через десять я увидела синий дорожный знак «Зязелга 0,1 км».

— Зязелга! — воскликнул муж, он кое-что об этом семейном мифе знал, задело его краем.

Договорились с друзьями (мы ехали двумя экипажами), что они подождут на трассе, а мы — мигом, только взглянуть на луговину и насыпь, оставшуюся от дороги, ведущей к мельнице. Как здравомыслящий человек, я понимала, что красоты Зязелги сильно преувеличены в устном мамином творчестве. Я была готова удовлетвориться весьма умеренными прелестями сельского

пейзажа. Но такой нищеты, грязи и упадка, такой беспросветной тоски, какой повернулась ко мне Зязелга, я не ожидала. Это было худшее из всех деревенских поселений, какие только мне довелось видеть, а поездила и посмотрела я за свою репортерскую жизнь достаточно. Опасаясь увязнуть в разбитых колеях на стыке тех самых двух улиц, мы оставили машину сразу, как свернули с трассы. Довольно быстро нашли насыпь. По логике она должна была начинаться прямо от усадьбы моего несчастного прадеда. В этом месте стоял, наклонившись вперед и вбок, кривой бревенчатый дом с дощаной подгнившей крышей. Окна его начинались низко над землей, он как бы смотрел себе под ноги. Потрясенная, крутила я головой по сторонам, когда, с трудом приоткрыв тяжелую створку криво сидящих ворот, из дома бочком высунулась и постепенно вышла наружу вся женщина с испытанным лицом в грязной стеганой жилетке, в розовых теплых рейтузах со штрипками, висящими на пятках, и в новых галошах. Она пояснила, что живет тут недавно, а дом — нет, не довоенный, его колхоз строил и теперь сдает под квартиры своим работникам. Откуда ни возьмись, около нас возникла старушка в шерстяном платке и болоньевом плаще образца 70-х годов. Как только я назвала фамилию Швецовых, старушка оживилась и открестилась от всего, что тут произошло когда-то:

— Я ведь маленькая была, еще и в школу не ходила, лет мне было пять, да меньше, меньше пяти, не исполнилось еще. А вроде как выплатили компенсацию-то родственникам?

— Выплатили, — поспешила я успокоить невиноватую старушку. — Я без претензий, я просто посмотреть.

— А смотреть-то и нечего, — воскликнула старушка. — Ваша-то усадьба сгнила вся, упала. Дом упал и услуги (так местные называют хозяйственные постройки). Мельницы давно нет, а речка уж потом сама ушла. Нечего смотреть-то. Этот дом построили на месте вашего. Колхоз построил. Колхозный дом. Ничей.

Как только вопрос с домом решился, дама в розовых рейтузах утянулась обратно в ворота, подшаркивая галошами. Заметив, что я чего-то еще жду, хотя ничего я не ждала, просто не могла справиться с придавившим меня впечатлением, старушка решила рассказать самое главное:

— Егорка, ну, тот, который вас того... — она показала жестом, что сделал Егорка. — Страшно мучился. Глаза у него повылазили. Всего скрутило, кричал — мочи нет, на два конца слышно было, как кричал, пока язык не вылез весь наружу. Языком-то он и подавился. А вы, правнучка, значит? На машине приехали? Не на автобусе. А Егорка в страшных муках помер. В страшных муках. И никого из них тут не осталось, а какие сопливые были! — Тут старушка оживилась и, похоже, хотела рассказать про необыкновенную способность Егоркиных детей, жены и тещи сморкаться через улицу наотмашь.

Я кивнула и пошла прочь. По мнению старушки, грех деревенской бедноты искуплен полностью и даже с лихвой Егоркиной ужасной смертью. Но мне было не до Егорки и его наследников. Мне открылось нечто, пролившее свет на все наши с мамой размолвки и горькие неприятности, на безнадежную нелюбовь, которую всю нашу с мамой жизнь я старалась преодолеть, выкладываясь перед ней своими успехами, трудами и талантами. Все было бессмысленно сейчас, здесь ввиду этой убогой зарывшейся в грязь деревеньки. Мама не в состоянии была принять и оценить дары, которыми осыпала ее жизнь после Зязелги. Потому что в Зязелге она была счастлива, а после — нет. Каким же сладким должно быть счастье, осветившее этот убогий придорожный мирок; и каким горьким — последовавшее за ним несчастье.

После Зязелги

Мой дед Димитрий пришел с фронта живой, здоровый, заряженный такой жаждой жизни, какую только может вынести человек, выживший в самой кровопролитной из

войн. Накануне победы где-то под Будапештом ему исполнилось 35 лет. Он готов был начать все с начала, с чистого листа, потому что после такой беды и бойни нельзя жить по-прежнему, а только в любви, веселье, в ежедневном жгучем нестерпимом счастье. Я не могла его понять — ну дед и дед, какая такая у него личная жизнь? — пока мне самой не перевалило за сорок, и я не додумалась вычесть 1910-й из 1945-го. Представить только: ему-то всего тридцать пять, и он — победитель! Каково принимать условия, поставленные раз и навсегда Екатериной: рожать она больше не собиралась, никогда. Никогда — относилось прямо к нему, к мужу. «То самое» никогда между ними не случится. Она за четыре года непрерывных хождений по церквям, по скитам, по чудотворным мощам отмолила у Бога жизнь Димитрия, вымолила народную Победу над жутким врагом. Дала за то Богу обет не иметь плотских отношений. Лицемерная баба Катя! Нашла способ исполнить свою же мечту стать христовой невестой, соорудила еще и подоплеку религиозно-идеологическую. Ловка! Ничего не дала она взамен своему Богу, наоборот — использовала его как ширму, как оправдание женской и человеческой своей несостоятельности.

Весной 1946 года все между ними было уже решено. Димитрий поехал в Зязелгу. В той худенькой избушке ютились теперь все трое — Галя, Толик и старшая Лиза, прибывшая к ним после того, как ей в Печмене отказали от дома. Хозяйкин сын вернулся с фронта. Нехорошо в одной избе держать девку-сироту и взрослого парня. Лизавета хоть и поздно созревала, в 16 лет едва похожа была на 14-летнюю, но все равно, пусть уходит, зажила. Вдруг заневестится? А в Печмене и своих невест тогда хватало с избытком. Пойти Лизавете оказалось некуда, разве что в Зязелгу.

Отец приехал, как и грозила Галя своим деревенским обидчикам, на грузовике. Только без арбузов. Красивый, военный, с медалями. В Зязелге его кроме тещи никто не знал, он со сватовства туда не навещался, а теща уж померла. Задерживаться

гостевать не пришлось. Отец в тот же день увез всех в Город. В довоенной семейной комнате хозяйничала другая женщина. Отказницу Катерину приютила Тоня Галанова, та самая, у которой муж перед самой войной пропал. Так нашелся ведь! Его вторично забрали в НКВД, прямо на улице схватили, «без права переписки» заменили чудом на лагерь, из лагеря попал в штрафбат, а там — геройское ранение, ампутация, демобилизовался. Он еще в 43-м вернулся домой, без руки, сильно заикающийся после контузии, но живой. Работе в ОТК увечье не мешало. Жили Галановы чисто, тихо и радостно — как до войны.

Чужая папкина жена деткам-оборванцам не обрадовалась. «Ладно хоть не все пятеро выжили», — сказала соседке-товарке сквозь зубы. Была она молодая, хваткая, беременная. Толик испугался мачехи, сразу же через коридор кинулся к мамке — в угол, отгороженный для нее в комнате Галановых. Галя с Лизой отец пригласил располагаться «как дома».

— А мы и так дома! — сказала Лизавета и села на табурет. Мачеха тут же табурет из под нее выдернула — надо таз с бельем повесить.

Надеялся ли Дмитрий вписать свою прошлую довоенную жизнь в новую, послевоенную? Просто отбивал номер, памятуя о разговоре с Богом в подмосковном блиндаже? Спросить сейчас не у кого, да если б даже было, кто скажет, как оно на самом деле? Галя не стала жить с мачехой. Если б отец знал, что по этикету, усвоенному в Зязелге, она не могла согласиться сразу, позвал бы еще дважды, трижды. Не позвал. Обиделся и алиментов не платил. Какие такие алименты? Мачеха пошла, порылась в Катерининых бумагах, нашла детские метрики, да и порвала все на мелкие кусочки: хрен вам! К осени Дмитрий выходил в завкоме комнату в коммунальной квартире в Рабочем поселке, так называемом соцгороде. Туда на 14 метров и съехала Екатерина с детьми. Хорошая комната, с окном во всю стену. В квартире холодный водопровод и канализация. Печка общая на кухне. После этого оформили они развод

и навсегда разошлись. Екатерина претензий не имела, а Дмитрий рад был, что легко отделался. Галя не стала учиться на артистку. У нее пропал голос. Врачи говорили, психологическая травма. Потом голос вернулся, но совсем не такой, как прежде. Да и до учебы ли им было? Лизавета с Галей пошли работать, надо было поднимать Толика, содержать мать. Екатерина хоть и твердила одно свое «нам не дом домить, не богатство копить», а к столу садилась с большой охотой. С утра до вечера читала она молитвенник, на все вопросы и упреки отвечая одинаково: «Будет день — будет и пища». Устроилась однако на работу уборщицей в столовую для инвалидов. Шел какой-никакой стаж. Полы мыли девки, Толик стулья переворачивал. Мать за них молилась. Так и выжили.

Когда Галя вышла замуж за молодого человека из состоятельной семьи и родила красивую девочку, впервые за все годы пришла к отцу. Не сразу, а девочку подрастила немного, чтоб та стала забавная, говорить умела, чтоб уже ясно стало, что девочка очень хорошая получилась. Пошла она вместе со своим замечательным мужем к отцу и показала, какой внучки у него никогда не будет, потому что он подлец, предатель и не заслужил.

Девочка на самом деле была так себе, не в Галя пошла, а в мужнину родню. И муж тоже — так себе, не очень-то Галя была в него влюблена. Ухаживал настойчиво, она его и пожалела, поддалась. Семья мужа ей совсем не нравилась, такие все надменные, богатые, с домашним телефоном и собственным автомобилем, а по сути — лодыри, горя не знавшие. Свекровь даже на работу не ходила. Одни пирушки да сплетни на уме. Ничего Гале не нравилось из того, что случалось с ней после Зязелги. Потому что в Зязелге она жила, глядя не вокруг себя, а прямо в ослепительно сияющее будущее, состоявшее из трех понятных вещей: конец войны, папка на машине с арбузами, и сама она — артистка в туфлях.

«Вот если бы нас не бросил отец!» — любила говорить мама, и тетя Лиза, соглашаясь, качала головой. «Вот если бы у нас не отобрали мельницу!» — на это тетя Лиза воз-

ражала, что мельницу не могли не отобрать, потому что иметь не положено. «Да и отобрали не у нас», — справедливо уточняла тетя Лиза. «И все же, — упрячилась мама, — если бы у нас не отобрали мельницу, то и отец бы нас не бросил». Тетя Лиза не видела связи между мельницей и отцом, однако считала за благо согласиться и опять кивала головой, но как-то иначе. Со стороны ясно было, что тетя Лиза остается при своем особом мнении, просто избегает скандала на почве бессмысленной дискуссии.

— А что бы тогда было? — спросила я однажды.

— Все было бы по-другому, — отвечала мама. — Все по-другому!

Она смотрела мимо меня куда-то в иное, в свое несостоявшееся, в то, где ни меня, ни папы точно не было бы, и мне холодно становилось от ее взгляда. Я чувствовала себя очень виноватой перед мамой.

В жаркое июльское утро на окраине безобразной деревни Зязелги я вспомнила все

разом и умылась слезами, укрывшись от деревенских взглядов в нашей замечательной новой машине по имени Ласточка-лачетти. Мы направлялись к теплому морю. Работал кондиционер, чтоб было не жарко, и магнитола — чтоб было не скучно.

— Знаешь, — сказала я мужу, который не вполне понимал, что происходит. — Когда мама говорила «я тебя ненавижу», я отвечала «а я тебя вижу».

Я еще порыдала какое-то время и сказала отчетливо: «Мама, я тебя вижу!»

Я действительно видела ее — всю как на ладони, видела и впервые понимала, за каким ослепительным светом она шла через войну, голод, нищету — через отвратительное бездушие Зязелги. Когда свет погас, все остальное уже не имело значения. Я ничего не могла исправить, но я теперь была свободна от вины перед мамой за то, что она не смогла меня полюбить. Я, конечно, лучше Зязелги, просто маме, навсегда ослепшей от своего детского горя, не дано было меня разглядеть.

Елена Ионова

Бог, напяливший рога



Красненькие сопельки, остренькие
сабельки
Воинов из олова, женщин из ребра.
Вот тебе, хорошенький, алкоголя капелька,
Крови моей чуточка и ведро добра.

Как, катаясь по полу, бьющейся в истерике
Становиться круглою, точно шар земной.
Каждой ночью видится, словно рябь
из телека,
Снег идёт на улице, снег идёт за мной...

А вчера под окнами прокатали мальчики
Что-то — то ли голову, то ли коlobка...
Гладь ладошку — накрепко смерть сжимает
пальчики,
Будешь с нею нянчиться раз и на века.

«Вы — соль земли, ищите сахар здесь,
Найдите, но не смейте его есть!»
И мы склоняемся в молитве и надежде.
И небо разверзается на раз,
И застаёт нас дивный чудный глас
Не спящими, в прокуренной одежде,
Без дома или даже топора,
Где нет деревьев — лысая гора,
И лысый вождь неспешно крутит Землю...
И нам дается молоко и мед,
В капусте дети, в небе самолет
И все, что я в других уже приемлю.

Лизнуть в мороз качели, ждать весны,
Оттаивания моей страны
Смотреть на ручейки, даваться диву.
И мама с кружкой выбежит во двор,
Прибережёт до дома разговор,
Чтобы потом ругать нас в хвост и в гриву...
И лошади прекрасны и стройны,
И, может, довели нас до луны,
Но в половину мама ждёт к обеду.
И нам не будет ни луны, ни звёзд.
За лошадьми на снегу навоз...
Я никуда отсюда не уеду.

«Не спи — замерзнешь, не садись на снег,
Не рви цветы — пусть кормится с них
пчёлка».

Здесь звери просят деньги и ночлег,
А ты в руках рабочего посёлка.

И дом вращает в вечную тоску,
И в землю предков, будто сами предки
Хотят его увидеть на боку,
И тянут к нему высохшие ветки,

И топят его — выпрыгнуть успеи...
Сидят на рее или реют чайки,
Беги до детских слюнок и соплей,
До колик в боку и мокрой майки.

На этом месте вырастет тайга,
Как райский сад на почве местных сказов,
И выйдет Бог, напавший рога,
Гонять по небу звездных лоботрясов.

Спиралится время мышиним горошком,
Растет распинаясь в саду крестоцвет,
И лето мне врет, что осталось немножко —
На рыхлой земле мой останется след,

Идет на зеленый сигнал светофора.
Цветочный горшок, как последний приют,
Мне в руки дают, говорят: «Это фора!»
Но, видимо, тоже бессовестно врут.

И глядя сквозь морок стекла запотевший,
Я вижу невсхожие семечки тел,
Как честно травой прорастает умерший,
Как чисто пророс у ворот чистотел.

Становился кто-то на самый край,
Выводил веселое над толпой:
«Ты постой, постой, наглядеться дай...
Или просто дай, или просто спой!»

Я ходила ночью на тот конец,
Я встречала там всех, кого боюсь,
И стоял над маковкой, как венец,
Лик луны и тонкий терновый куст.

А над речкой плыли туман и дым,
А под сердцем маялась благодать.
И меняла цвет станция Сады,
И хотелось петь или просто дать...

Где луна моя двурога,
Туча кругла, как свинья,
Я создам другого Бога
Для тебя и для меня.

Чтобы жил на Анатольской
Или на площадке «Гать»,
Падал на воде — где скользко,
Нас бичом не смел стегать —

Брал колючий куст крапивы
Или тонкий ивы прут...
Там в конце все будут живы,
А в начале все умрут...

Ольге Ионовой

Глупая девочка с фотками наголо
Выпала ночью, снегом не замело.

Снег отступил, аккурат очертив подол,
А под подолом теплится рок-н-ролл.

Видишь, лежит прозрачная, как стекло,
Бледная девочка, лыбится так светло,

Как на чердачных окнах блестит весна,
Как, разбивая стёкла, визжит шпана.

Канул в ближайшем желобе вешний лёд.
Если подуть и выплакать — всё пройдёт.

Всё осталось так, как прежде,
Вышел месяц из тумана,
Горло резал он надежде,
Как священному барану.

Стала кроткой, как овечка,
Под заснеженным хиджабом
За Зеленым мысом речка,
А вдоль речки ходит баба.

Ищет баба, где же прорубь:
«До крещения успею...
Летел сизый, летел голубь
Со голубицей своею...»

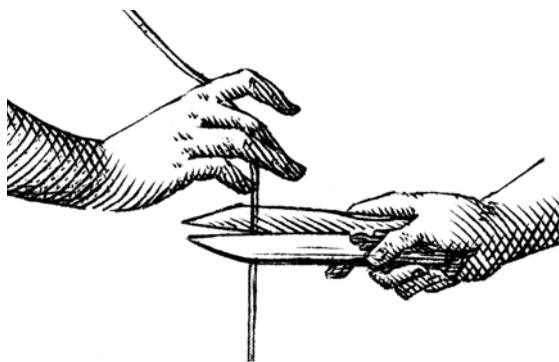
Листья и стебли покрыты тлём,
Дождь идет за холмом...
Лучше б мне было Его землей
Или твоим ребром.

Глазки — что ракушки, в рот вода
С неба — и будет пруд.
Дети твои пусть пасут стада,
Травы на мне растут...

Как заколоченные дома,
Выдох мой задержи.
Дождь принесет от того холма
Капельки, как ножи.

Вячеслав Запольских

Любовь к ошибкам



Перед читателем отрывок из второй части романа, первая опубликована в журнале «Нева» (№6, 2013). Действие романа протекает в разных хронотопах, но преимущественно в Перми лета 1991 года и в Восточной Римской империи конца VI — начала VII века.

В этом фрагменте повествуется о Германе — персонаже с не совсем человеческими свойствами. Например, он вынужден воспринимать как собственные пережитое прошлое и судьбы других людей, за которых его принимают окружающие, так что в Константинополь из своих странствий он прибывает в надежде обрести собственную судьбу, как то будто бы предсказано в сивиллиных книгах. Постепенно он начинает понимать, что его собственное предназначение неразрывно связано с судьбой империи, а значит, с цивилизованным существованием человеческого племени, и ему представляется, что именно от него зависит, по какому вектору пойдет история — к одичанию или к сохранению и приумножению культуры. Осознавая личную ответственность за ход истории, он вступает в борьбу за будущее империи как воин, государственный деятель и ученый.

Автор

Вулканоподобный храм только затем раздул на древнем Первом холме свои неимоверные объемы, безвидные и несущественные, как изнанка неба, чтобы спрятать внутри себя повторенный Константинополь. София была еще одним городом, вложенным во внешний город и, по утробному выверту топологии, содержимое окazyвалось больше содержащего, краше его и благоустроенней. Лишь ход времени в нем сдвинулся, снаружи наливалось светом утро, а здесь шевелилась темень, сгущаясь вокруг зеленых, красных и мглисто-черных колонн. Но небеса во внутреннем городе были распахнуты шире, глубже и призывнее. Страшно было сделать шаг, казалось, стопа отлепится от мраморного пола, и человека, потерявшего всякую весомость, пылинкой утянет туда, где мозаичные искры изнутри обсыпали параболическое небо, а вместо солнца в зените стоит крест. С юго-запада вместо потоков облаков и огненных шлейфов метеоров навстречу входящему летели великие святые и смутно Герману известные Христовы родственники. Упрощенные до схематизма лица пылали горячечной подлинностью на ледяющего золота подкладке мозаик, фронтально развернутые фигуры выступали из глубины растворявшихся стен, и это придавало объем их плоскому начертанию.

— Разве сравнишь здешние священные образы с человекоподобием древних богов, каких мы в Риме видели? Человек, он что? — оживился недавно воцерковленный Даймон. — Скотина малосмысленная, только брюхом да еще одним к этому брюху довеском озабочен. Предпочитает телесной гармонией красоваться. А церковные лики исполнены духовного возвышенного света.

Принялся бойко просвещать:

— В каждом изображении четыре рода смыслов. А именно: буквальный, моральный, символический и... и... Али...

— Аллегорический.

— Точно, — не обиделся малорослик, продолжал восторженно шептать:

— Образы бывают подобные, или же сходные, и неподобные. Несходные то есть.

— Вон грифон нарисован, — заметил Герман. — Персидское веяние, конечно.

— Вовсе тут Персия ни при чем! — обрадовался ошибке Даймон. — Грифон есть символ Христа, и символ как раз неподобный. Если б я тебе не сказал, ты б и не образил, верно? Это по уговору считается, что грифон означает Спасителя. Христиане между собой так сговорились. В апостольские еще времена.

— Чтобы по сходным символам императорские магистрианы их не повыловили, — благосклонно догадался пытавшийся убыстришь шаг собеседник.

Даймон огорчился. Принялся втолковывать, что первые христиане ни мук, ни смерти не боялись, наоборот, шли с радостью в пасти диких зверей, под меч и на жаровню. Слова застревали в сгущенном храмовом воздухе.

— Вот как, — сдержанно восхищался Герман. Он безотчетно поворачивал вперед плечо, с напряжением продавливая здешние дальность и длительность, полные вневременной застойной дремоты. Вдалеке, под парящим куполом, темно светился еще один городок-храм, уже третий в этой ойкумене вкладышей. Над ним маленькое золотое небо, вызвездившись драгоценными камнями, повторяло главу Софии; этим куполом укрывался амвон, светлея слоновой костью, горя серебром, играя цветными мраморами. Идти до него было столь же далеко, как до края света. А за краем еще червонно рдел алтарь, укромный Ultima Thule бесконечного храма-мира, завернутый в плену туманных эмалей, сквозь которую едва удавалось проморгнуть искрам самоцветов.

К тому времени все скопившиеся под куполом вздохи и молитвы слились в один гулкий звук, и он начал отвесно, по оси паникадила, валиться на низинную окаменелость, разбудил немоту экседры; и это был словно голос самого неба, давший сигнал. Тотчас со всех концов, во все двери и окна стали втекать и перемешиваться, кружась светящимися пылинками, разные прошлые, будущие и невозможные события. Во встрепенувшемся настоящем Юстин уже отцепил

меч в вестибule, и патриарх как раз вышел к амвону, празднично зашумела толпа, пятясь от мраморного круга императорского места, проснулись затканые паутиной орнаментов многочисленные полости Софии, только Даймона стронувшийся ход вещей расстроил. Сожалел, что за рассказами о художествах не успел показать самое интересное: Иерихонскую трубу и палицу Моисееву, да ладно, потом.

Вступая в должность, полагалось при трех свидетелях принести присягу. Ладонь ощутила ласку тисненой кожи. Патриарх, хоть известен был аскетическими привычками, подал Евангелие, богато блеснувшее жемчугом оклада.

Герман в полный голос, торжественно, хоть и давя прущие против воли смешки, объявил, что станет доблестно и честно сражаться за интересы императора, синклита и римского народа, и ни один перс в Петру не войдет. Эхо благосклонно уносило его клятвы под купола и на хоры.

Убрал ладонь с Евангелия. Отражения слов стихли, теснившийся вдоль северной стены римский народ не шевелился.

— Символ, — раздраженно, но негромко подстегнул Юстин.

Герман растерялся. Вчера советовался с Филиппиком и Тиверием, а вот не догадались друзья спросить, ведома ли эрудиту и книжнику простая короткая формула. Которую всякий полоротый мальчишка знает. А он, Герман, не знает. Это ведь уже не то чтобы подозрительно, это позор и едва ли не верная гибель. Обежал взглядом толпу. Показалось, среди мелкого люда в задних рядах ошарашенно плятятся тот самый косяглазый и слюногубый, что в день приезда непонятно притягательным взглядом из-под пенулы заставлял выворачивать шею на Месе. «Веруешь во что... Никейское соборное постановление», — вышевелили губы Иоанна. Герман молчал, наклонив голову. Пушистоволосый ангелочек позади василевса мял в руках приготовленный цингул.

Иоанн вздохнул и стал нашептывать:

— Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα...

Сперва угадывая по губам, потом, когда патриарх откровенно возвысил голос, уверенно и слово в слово Герман повторял: «Рождена от Отца единачадна, сеже есть от существа Отца: Бога от Бога, Света от Света...»

Да нет, это не человеческое лицо, а изображение на иконе, странно даже, что сперва принял краску и воск за сморщенную гримасой живую физиономию.

— ...Рожденна, а не сотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша, яже на небеси и яже на земли...

Юстин, переступив с ноги на ногу в своем мраморном круге, благосклонно добавил свой голос:

— ...Ἀναθεματίζειν καθολικὴ ἐκκλησία. Ἀμήν.

— Аминь.

Схоларий, облегченно сорвавшись с места, опоясал новоиспеченного парафилакса красным поясом. Юстин, не подойдя к престолу, повернулся и быстро ушел. Даймон подскочил, Филиппик степенно подступил, стали поздравлять. Тиверий обнял, шепнул на ухо. Герман кивнул: разумеется, следовало ждать выволочки от патриарха за непростительное незнание символа веры. Пришлось просить прозелита-маломерка с победителем иллирийских апелатов дождаться на Августеоне.

Снова вслед за стопами Иоанна мирские вельможные подошвы давят мрамор на климене и хорах, но лохмы волос из коридоров уже выметены, а желающих облизывать иконы страшает и гоняет клир да охочие монахи, снисходя и до отеческих зуботычин. Усевшись в Секретоне на свой умерщвляющий плоть сундук, патриарх с неудовольствием отметил, что Тиверий на тайный разговор явился не один. Впрочем, тут же догадался, почему влиятельный комит захватил с собой новопроизведенного и явно неправославного стратилата. Если Тиверию предсказал венец августа, то теперь предстоит разглядеть будущее, а если повезет, и прошлое самонадеянного пришлеца из ниоткуда.

— Что символ, — движением ладони остановил попытавшегося объясниться Германа. — Не в символе дело.

Раздосадованно:

— Эти сирийцы нас ненавидят, вот в чем главное-то зло. Нос задирают, по-гречески говорить не хотят, Антиохию свою, или как там ее нынче положено именовать — Феополь, ставят выше Константинополя. Цепляются к каждой букве: надо им ομοιοουσιον, но никак не ομοοουσιον. Не будь этих мудрствований об одной природе, они бы еще какую-нибудь христологическую закавыку выдумали. Дай только повод, чтобы отделиться!

Комит не стал занимать место на сундуке рядом с Иоанном, прошел к оконцу, прислонился к стене. Плечу стало холодно. Маленькое солнце тускнело, не ударил бы крепкий мороз. Оттаивать долго придется.

— Опасения твои понимаю и разделяю, — мягко начал возражения. — Но ведь одной строгостью человека не переделать. Сирийцы гонения не забудут. Станут годами питать ненависть. Не сразу, через несколько поколений, но найдут повод, средства и момент отложиться.

— Что же, по-твоему, следует предпринять? Да учти, что действовать надобно скоро, сейчас. Через полгода, мало через год поздно будет.

— Спешно такого дела не поправишь. Тут один способ: школа, — убежденно ответил Тиверий. — С малолетства надо учить, прививать нужные взгляды. Школа все побеждает, даже поколениями взращиваемую ненависть. Школа может из отпрыска еврейского цадика сделать православного святого. Надо только, чтобы детки попадали в нее совсем несмышленими, сырой глиной в учительские руки.

— Не ко времени совет. Сейчас эти неученые детки вот-вот Адаарману ворота Антиохии откроют, — подстегнул Иоанн.

Картинка, которую вскользь очеркнул патриарх, видно, задела болезненную струнку комита. Струнка эта называлась — Оронт. Вдруг да выветрились стены на склоне Сильпия, а целы ли башни, возведенные на местах, где Селевк расставлял своих слонов, и сподобились ли антиохийцы починить Дафнийские ворота?

— Худо, когда сборщик хрисаргира подчищает кладовые и кубышки, словно перс, взявший город приступом, — комит, которого патриарху подстегнуть не удалось, принялся неспешно размышлять вслух. — Когда приходится прятаться и от епископа, и от таксиота, поневоле начнешь искать себе другого царя и другую веру.

Стоя в дверях, Герман переводил взгляд с одного спорщика на другого. Каждый из них по-своему хотел империи устойчивости и процветания, но между их мнений не сподобилась блеснуть золотая середина. Да ведь, наверно, и не существует безусловно правильного и безгрешного пути для воинов и клириков. И никогда не договорятся священник и стратилат.

— Тебе, святейший отец наш, вероятно, известно, что писал папе Гормизде предыдущий государь, — продолжал комит. — «Тот доктор справедливо восхваляется, кто лечит старые болезни, не причиняя новые раны». И особо указал, что привести народ к миру можно не преследованиями и кровопролитиями, но терпением.

— О, и сам правилу своему усердно следовал, — съязвил Иоанн. — Что он еще там Гормизде отписал?

— Что ошибки, длительное время совершавшиеся, подобает исправлять с мягкостью и снисхождением. А то ведь, желая завоевывать души силой, мы теряем и души, и тела, — мягко упрекнул Тиверий. — Но если тебе, боголюбивейший господин мой, не по нраву мысли Юстиниана, то ведь сам основатель нашего города призывал удалиться добровольно от дьявольских искушений догматических споров. Потому что не под силу уму человеческому дознать и изъяснить столь великие и трудные предметы. Великий Феодосий приравнял возбуждение церковных волнений к оскорблению величества. Император Маркиан подтвердил, что никто из христиан, какого бы звания и состояния ни был, не смеет заводить о вере публичные споры.

— Начитан, сведущ, — тряхнул бородой патриарх. — Один за другим цари призывали к отказу от поиска истины. А почему

им приходилось повторяться? Потому, что эдикты их не исполнялись и не могли быть исполнены. Снова и снова, не боясь ссылки и петли, ревнители благочестия восставали за чистоту веры. Наконец и василевсам стало ясно, что соборные постановления выше царского мнения.

Пылинки неопределенного времени плавали в бесцветном конусе, падающем из окна. Иоанн, старчески закряхтев, встал с сундука и подошел к комиту, упер черное плечо в соседний простенок.

— А знаешь ли, что я разговаривал здесь с Юстином несколько дней назад? Он и не подумывает слать войско в Сирию.

— Это проблема светской власти, — не сдавался Тиверий. — Если ситуацией в восточных провинциях не озаботится лично император, то найдутся другие чины и звания. Дело же священства молиться и учительствовать, а не хвататься за розги или, тем паче, за обоюдоострый меч.

— Не ходи вокруг да около, что за иносказания да намеки, — вспылал патриарх. — Позволено ли церкви быть политическим оружием? Ты это хотел сказать? Так скажи прямо, не бойся. Церковь наша с самого начала была политическим оружием. Христос именно это имел в виду, когда говорил, что не мир принес, а меч. Многие недоумевают, как это понимать, ведь проповедовал-то любовь... А вот так и понимать. Вера наша есть любовь, а церковь — меч. Неизбежный парадокс. Все великое зиждется на парадоксе. Это как в отношениях с женщинами: отпор только придает любви новые силы, а отсутствие сопротивления убивает чувство. По-настоящему любить можно либо с мечом в руке, либо с мечом у горла, все остальное — женское кокетство и эллинская философия.

Утомленно, по-стариковски, перевел дух:

— А ты что скажешь, Герман?

— Все тут правильно говорили, — неспешно начал варварски голубоглазый парафилакс. — Все важно. Но не забыть бы про порты, дороги и рынки.

— По-твоему, прилавки да аввакии способны заменить школьные и церковные кафедры?

— Контроль над торговыми узлами, — пояснил Герман. — Пусть себе яковиты беснуются в сирийских монастырях, копты сочиняют злейшие еретические трактаты. Но если в руках империи остаются порты, дороги и рынки, то бояться излишнего самостояния языков и племен нечего. Никуда они от своей выгоды не отложатся. Сами придут и поклонятся, и епископ, и последний ослиный погонщик.

Почтительно поклонившись, Герман вышел в двери. Тиверий на мгновение задержался, вопросительно глянул на патриарха.

— Непроглядный человек, — с сожалением произнес Иоанн. — Показалось мне, из него высунулся демон, вроде того, который привиделся в Юстиниане некоему монаху. Но все же он не дьявольское отродье, нет... Добра в нем я не увидел, но какая-то склонность к ласковости... Не свойственна врагу даже и ласка. Тут что-то другое...

Тиверий перекрестил лоб и сказал перед тем, как выйти:

— Будем надеяться, что империя останется всегда единой и нераздельной, но все же хочется, чтоб в будущем нашлось кому читать псалмы Ефрема Сирина на его родном языке.

Усмехнувшись, патриарх кивнул. В стене Секретона, за толстым слоем штукатурки все сказанные слова собирались в воронку ниши, а оттуда по слуховой трубке сыпались в крохотную каморку, где, скорчившись, сидел бледный агент. Суставы его вывихнул ревматизм, голова бедняги разбухла от запоминаний, ведь скрести по церакулам в темноте и тесноте не было никакой возможности. «Что-то там про дьявола и про Сирию, — подытожил слухач. — Перескажу как получится. Василевс поймет. Он всегда понимает правильнее, чем сами говоруны».

Герман вышел на галерею хоров. Опускаясь на плиты, стопы сами каменели, и от неслышного соприкосновения с мрамором возникал хрупкий звук, рос и ветвился кристалл твердого звона, достигал сердца в его вечном холоде, оплетал и стискивал, как эти жесткие минеральные линии, упруго гнущися, словно стан персиянки в танце, извер-

гаемые в каскады завитков и узлов, ломающие глаз о подровненные бордюром волны орнаментов. Тяжелые кубы и непреклонные углы изнуряли, сдавливали и укрощали симметрией мечтательно лазоревую, вызывающе белоснежную, студенисто-синюю, а то бестолково пеструю самоцветную дрожь, рождающуюся во внутренностях камня. София изнутри была, как цветущий луг, украшенная зеленой листвой аканфов, шафранными египетскими джедами, пунцово набухшими почками кринов. Весна здесь переходила в лето, а пора бурлящих соков возвращалась обратно к робкому пробуждению существования. Пальметты орнаментов не нуждались в напоющем дожде, цветущей яшме не грозило умертвление снегом.

Вопреки опасениям Тиверия, к полудню началась ростепель. Филиппик и Даймон ждали их на Августеоне.

— Надо бы отметить, — предложил Даймон, оперев кулачок в бедро. — По-нашему, по-бойцовски. Пошли-ка в капилю Прыщавого Ислы.

Филиппик улыбался, должно быть, Даймон уже сговорил гардеробного комита на безоглядное пьянство.

— «Прыщавого»... Вывеска малопривлекательная, — улыбнулся Герман.

— Свел он уже свои гнойные украшения. Притиранием риноцеровой бодательной кости, — щегольнул медицинской рецептурой коротыш. — Смотри-ка, мы о вине заговорили, и он тут как тут.

Со стороны Халки появился Маврикий. Улыбался, но не слишком весело. Извинившись службой, которая не дала присутствовать на многообещающем событии, поздравил, щелкнул ногтем по новенькому красному поясу, выбор капилии одобрил. Судя по незначительности вопросов, которыми непрерывно осыпал друзей, явно стремился позаимствовать веселья извне, от вертопрашного настроения сбившейся банды гуляк, а внутри прятал беспокойство.

Холодная сырость неощутимо сменялась тепловатой духотой. Пелена, застилавшая небо, поднялась чуть выше, разделилась на облака, измятые и вялые, как не про-

зевавшиеся со сна лица. Кератас налетал порывами, надсадно хлопал отяжелевшими навесами над Макрос Эмболом. Даймон уверенно вел воодушевленную банду к месту предстоящего разгула, рыночная толпа изумленно и почтительно расступалась. Вот и знакомый переулочек, слева разит прелью из кожевенной лавки, по правую руку колыхается рваная занавеска на оконце запустелого акестирия. У порога харчевни щенок лижет выплески рыбного соуса. Вошли, недолго задержав шаг на границе дня и всеурочного затмения, приучая глаза к полусумраку. Маврикий молча нацелил палец на компанию, сидящую возле очага, тотчас то ли табулярии ничтожные, то ли зажиточные мясники беспрекословно рассеялись за пределы видимости. Хозяину и мановения пальца не понадобилось, только взгляда. Исла, действительно избавившись от чирьев, запуганно махнул слугам, те бросились в непроглядные закутки, оттуда заскрипело, треснуло, дзынькнуло, а потом забулькало в глиняные кружки перед великолепными гостями, «уж извините, сиятельные мужи, других-то нет».

Филиппик, сделав первый глоток, к страху Ислы поморщился, поиграл ноздрями, а потом поинтересовался у Маврикия, не из дворцового ли гинекея сиятельный муж сбежал и кто же столь настойчиво злоупотребляет притираниями, София или Арабия? Даже бросок сквозь запахи Макрос Эмбола не выветрил из бороды и шевелюры тягучей сладости женских благоволий. Маврикий поперхнулся, виновато крякнул, к нему возвращалась привычная легкомысленность.

— Ты действительно считаешь, что прищемлять бунтующие провинции следует за складку денежного жирка? — спросил Тиверий, поглядывая, как Герман мутным лезвием режет кусок говядины.

— Точнее, за ту мыслишку в голове, которая считает да пересчитывает свою пользу. — Тот с удовольствием поймал на губу каплю сока с дымящегося ломтя.

— У провинциалов на боках лишнего жира давно нет, — подначил Маврикий, отдирая зубами приличествующую нобиллю

свинину с ребрышка. — Простолюдины, когда расчеты ведут, не шарика на аввакиях отщелкивают. Давно наловчились на собственных этих вот, — помахал обглоданным ребром, — складывать и вычитать... Герман, ну как тебе может нравиться грубое бычье мясо?

— Ты про школу очень правильно сказал, — хладнокровно отправляя в рот отрезанный кусок, обладатель варварских вкусов предпочел ответить Тиверию. Запил подогретым вином. — Но едва бунтом запахнет, с нашего провинциала, даже с обученного, даже, как ливийская обезьянка, дрессированного, в единый момент слетает годами копившееся законопослушание. Особенно если громить, резать и жесть зовут на не забытом с колыбели языке.

— А тяга к утробной выгоде, стало быть, не исчезнет никогда, — понял комит. — Печально сознавать, что ты прав. Но хочется надеяться, что когда-нибудь люди, будь они напыженные сирийцы или взбалмошные египтяне, перестанут соображать одним брюхом.

— Невозможно, чтобы все сделались святыми, — не без сожаления возразил новоиспеченный парафилак. — А без святости, или уж не знаю, как это назвать... Может, даже и человечностью. Без того, что толкает поперек собственной выгоды, человек остается только зверем.

Последнее слово раскатилось под закопченным потолком неожиданно звучно и потому зловеще. Притащивший новый кувшин слуга-подросток, по виду смысленный, хотел было что-то сказать, но опомнился, беззвучно исчез впотьмах.

Даймон мало принимал участия в разговорах, благоразумно нажимал на кимифермон, вот бы Андрей с Хрисафием такую сдержанность увидели. И они увидели. В световом прямоугольнике двери нарисовались две фигуры, одна напоминающая крутобокий ромб, а другая книзу сходящуюся трапецию. Тучный портной еще моргал глазками, не переступая порог, а широкоплечий трапезит уверенно шагнул вглубь капилеи и, нисколько не убоявшись

благородно пьянствующих мужей, направился к Даймону, издали показывая ему угловатый кулак. Каковая грубость, впрочем, запальчивого коротыша не рассердила, а только огорчила до уныния.

— Твои знакомые? — спросил Маврикий. — Выпейте с нами, хрисмоны, садитесь. Эй, хозяин.

Исла немедленно вскочил в световое пятно у очага с добавочной скамьей. Ошеломленно захрустела дубовая доска, трапезит Андрей уверенно уселся рядом с Даймоном, подвинул к себе его кружку.

— Фермон, — жалобно пояснил подверженный винной пагубе варвар. Андрей недоверчиво понюхал. Удивленно и одобрительно хмыкнул. Тут и обширная тень Хрисафия легла на стол, швец сел по другую сторону от Даймона, отчего костлявая фигурка сделалась совсем малюсенькой.

Андрей умел разливать вино так, что оно бурлило, вылетая из кувшинного горла, а в кружке вскипала, фиолетово светясь, крупнопузырчатая пена. Тиверий вдруг стал выводить приятнейшим баритоном: «А этот вот молодчик, ладно скроенный!..». «Эх, да грянем!» — воодушевился трапезит. «Отчего ж не спеть», — степенно согласился Хрисафий. Подхватили без робости и гуляки за соседними столами:

— *Всю ночь без передышки спит, без
просыпа,
Свистит, трещит, в двенадцать шуб
закутавшись...*

Когда уже вино перестало только горячить, но развязало тугие узлы мыслей, решили погадать, что ждет Германа в Петре, землю верных лазов надежно обороняющей. Как положено, по Вергилию погадать. Но где взять Вергилия? Филиппик, у тебя под плащом нет ли «Энеиды»? Куда там... Может, Исла у нас завзятый книгочей, держит в сундуке с золотой казной и чтение приличное?

У хозяина нашлось аж три книги. Два кодика и мятая фенола. Должно быть, достались как плата за живительный глоток от вразумленных классикой, но пропившихся учеников Хировоска-дидаскала. Но не Вергилий, конечно, нет.

— Надо загадать страницу и строку.

— Сколько фиг сушеных у хозяина вон в том углу висит, столько и страниц отлистнем. А число наших кружек на столе будет номером строки.

Осторожно, чтобы не поднять с переплета пыль, Маврикий открыл первую книгу:

*«...sapiens, sibi que imperiosus
Quem neque pauperies, neque mors, neque
vincula terrent,
Responsare cupidinibus, contemnere
honores
Fortis, et in se ipso totus teres atque
rotundus,
Externi ne quid valeat per laeve morari,
In quem manca ruit semper fortuna?».*

— Даймон, сумеешь перевести? — спросил Герман.

— «...Если он мудр и сам себе господин, и его не пугают ни нищета, ни смерть, ни оковы», — неуверенно начал слабоватый в латыни уничтожитель киминфермона. — И-и-и... «Если, твердый духом, он умеет владеть страстями и презирать почести»... Дальше непонятно.

— «И если он весь как бы гладкий и круглый, так что ничто внешнее не может сбить его с толку, — подхватил Филиппик, — то властны ли над ним превратности судьбы?». А кто автор?

Даймон попытался было подглядеть надпись на переплете, но Маврикий зловредно отодвинул том.

— «Сатиры» Горация, — наставительно просветил Филиппик.

— Что за «гладкий и круглый», как понять? — недоумевал Даймон. — Невразумительно, ровно эллинский оракул. Давайте другую книгу.

*«Ты, Илифия, меня родила, ты, Земля,
схоронила,
Слава обеим! Теперь жизненный путь
завершен.
Я уйду, но куда? Я не знаю. Не знаю я
вовсе,
Чей я? Кто я такой? К вам я откуда
пришел?».*

— Уже посложнее, — задумался Маврикий. — Судя по стилю, автор не древний.

Кто-то из наших современников?

— Македоний, — уверенно заявил всезнающий гардеробный комит. — Но не помню, кому эпитафия.

— Малопрയാтное обещание для того, кто отправляется на войну, — заметил Тиверий и указал прислужнику на опустевший кувшин. Еще выпили, и решили, что предсказание неправильное, а надо бы попробовать еще, на третий-то раз выйдет несомненная правда.

В помятой феноле хранился ветхий свиток. «Книга Исаии». Немного поспорили, как определить главу. Сошлись на 53-й, столько оставалось дней до Пасхи.

«...Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлек бы нас к Нему, Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изнедавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его».

— Это про некоего раба Яхве, — уверенно прокомментировал вестиярит-всезнайка. — Христианину-читателю в нем полагается видеть прообраз Христа, запечатленный в Ветхом Завете.

Сколько ни старались, не сумели уразуметь, чем свеженазначенный парафилакс похож на ветхозаветного безвидного раба, зачем это он totus teres atque rotundus, и притом не ведает, кто он есть, чей и откуда. Заговорили о предстоящей экспедиции Германа в лазскую землю. Сошлись, что для крепкой обороны Петры надо не меньше тагмы пехоты. Да конницы турму, да две-три аркбаллисты. Итого пять хеландий и попутный ветер, правда, в это время года в Боспоре да в Понте ветры редко бывают попутными.

Андрей привстал и торжественно возгласил, что желает присоединиться к славному походу, за ним и толстый швец возжелал воинской славы, ножи загремели мечами, и салфетки развевались знаменами, запятнанные соусами, как персидской кровью, но тут Маврикий, поскребя заросший кадык, вдруг заявил, что Юстин не дает Герману войска. Не сразу, но зашумели: «Ты, магистр,

неудачно шутишь», «Может ли быть такое?», «А ведь похоже, похоже на всегдашние лукавства нашего благотворца аланского, готского и дальнейшего...».

— Точно говорю, — Маврикий снова впал в пасмурность. — Явился из храма и сейчас же о том объявил. «И никакого письменного указа, — говорит, — я этому пройдохе, Никейского символа не знающему, не представлю. Посмотрим тогда, на что он годен, а с войском, царскими деньгами да золотобуквенными хрисовулами любой агрот навоюет». Почему-то очень радовался притом. Герман, ты что там наприсягал, в Софии-то?

Герман озадаченно молчал. Даймон ругался на непонятном большинству присутствующих языке. Хрисафий вздохнул, поерзал на скамье и заявил, что в таком случае он передумал отправляться на войну.

— А я пойду, — сердито подтвердил Андрей. — Не верю предсказаниям, это все обольщения дьявольские.

— Правильно, — обрадовался Даймон. — Господь ведь дал человеку выбор. А тогда никакие пророчества не действительны, правда?

— Истинно.

Воздух к вечеру снова сделался свеж. Пустели переулки. Добрались до Милия, здесь предстояло разойтись.

— Как можно... Не знать Никейского... — язык Филиппика с трудом выталкивал упреки. Осуждающе помыкивал Маврикий. Удрученно трезвый Даймон пытался поддержать друга, бормотал, что не всякому христианину истинность заповедей жизнь преподала так доходчиво, как Герману, то есть он хотел сказать, что Герман тоже христианин... Не «тоже», а действительно. Запутался, замолк.

Площадь безлюдна, но из-за Милия вдруг выворачивает давний таинственный преследователь, ходячий намек на нечто присвоенное вскользь, да пренебрежительно оброненное. Завидев веселую компанию, замер, косоного раскорячась, готовый мигом улепетнуть.

Так вроде вспоминалось после.

— А-а! — пьяно воодушевляется Герман. — Старый знакомец. Но ты-то мне ве-

ришь? Разве в Символе дело, да во всяких омоио... Омоуси...

Гевиион кивает, отпрыгивает. Подхватив губой слюну страха, шепчет, вздрагивая: «*Odi accipitrem...*».

Переведя дух, докрикивает истерически: «...*accipitrem qui semper vivit in armis*».

Только его и видели, прытко унесся, слово от дождя огненного, топоча легонькими не по погоде крепидами. Но никто ж не собирался его пугать. Ведь просто спросил. Даже за шиворот не взял. Так вспоминалось. И до чего чиста латынь у еврея!

— Сейчас. Докажу, — объявил Герман. — Вот у вас там... У нас, христиан, считается, что вера горы двигает.

Холод выжал влагу из дорожных плит, они запудрились сизой пылью. Пошатнувшись, шагнул к глыбе городского омфала.

— Подвинем.

Коли святости ему недостает, так это потому, что грехов у него не меньше, чем у многих, у большинства, и если б не их тяжесть и не справедливое подозрение, что в будущем он нагрешит еще сильнее, потому как он человек военный и, что тут особенно важно, не отличающийся мученической бедностью, то он бы повелел вот этому Милию сойти со своего места на три оргии.

И тут, когда он еще не закончил слово, раздался сначала скрип, потом что-то вроде тихо долетевшего из ниоткуда молитвенного пения, но как если бы псалмы распевать взялась овца или жаба, и громада каменного милевого изваяния сдвинулась и вошла на три оргии в уличное мощение, а на месте, где только что непоколебимо, как казалось, возвышался городской омфал, осталось круглое пятно сухой и будто мышами мелко истоптанной земли. На то же вержение камня немедля подпернулись Каппадокия и Далмация, и на стежок съехали со своих мест Палестина с Ливией, ведь расстояния до всех земных краев считались от милевой константинопольской глыбы, а с порушенным порядком в географии и пронизка зимних созвездий в чернеющем небе дрогнула и начала было рассыпаться.

Хлесткий ветер утерял прыть, и полы плащей, которые только что рвались пару-

сами улететь вдоль пустынной Месы, сейчас медленно взлетали и опадали, словно в снящемся танце. Лица невидяще обратились к пустоте, замершей на месте Милия; отвернуться, пошевелиться стало невозможно, как бывает перед землетрясением, последующее движение не желало отклеиваться от начального. Только Даймон, спотыкаясь, слепо двинулся вперед, раскинув руки, будто хотел схватить и стиснуть незаконную лауну на месте ушедшего каменного знака. Гуще связывал клей времени рыночных хрисмонов и сиятельных аристов, а Даймон, захлебываясь усилием, едва не побежал, и вдруг, с размаху налетев на невидимую твердую преграду, вскрикнул, его отбросило, швырнуло на мостовую. Сидя на ледяных плитах, держась за лоб, повторял: «Да почему? Да кому?».

Ночь пыталась ужаснуть зимней грозой, в небесах рычало, мигало, фиолетово пузырилось, как давешнее вино в рыночной харчевне, но под утро затихло. Пальчики солнца чутко обшаривают стены, и воздух скрипуч от жара углей в железных коробах. Лошадиным теплым пофыркиванием тянет из яслей, подбираются из кухни вкусные шкворчания и дразнящие дымки, отлетающие с противней.

— Ох! — Герман приложил к виску собранные в щепоть пальцы. — Кстати, Филиппик, ты бы забрал к себе вчерашнего нашего виночерпия. Слугу в капилее, который кувшины таскал. Думается, мальчишка незаурядный. Присмотришь. Из него толк выйдет.

— Непременно пошлю за ним, — пообещал белобрысый царедворец. — Что вчера было?

— Что-то... Нечто... — невнятно промямлил Герман. Гостеприимный хозяин неотрывно смотрел в глаза.

— Действительно или показалось?

Меньше всего хотел бы услышать даже намек на отдающий ломотой в висках и затылке нежеланный вопрос. А тут впрямую, и неотступно. Морщась, ответил:

— Действительно ли я сдвинул Милий своим неверием, имеешь в виду?

Филиппик сам не знал, что имеет в виду. Даймон с повязкой на лбу горячечно, будто вчера все же лишку выпил, раздирался меж-

ду стремлением пойти на Августеон и собственными глазами рассмотреть, на месте ли милевой обелиск, и благоразумным желанием подольше не вставать с постели, забыть о вчерашнем. Ведь если позже всех встанет, ранние птички до него отыщут объяснение и заготовят успокоение. Или сами сумеют о нехорошем забыть, что одно и то же.

В итоге никто удостовериться на площадь не пошел. А к полудню уже безобразно орал верблюд, не желавший ступить на сходни. Одну хеландию нанял Тиверий, на вторую Герман пустил едва ли не последний запас наличных денег. Маврикий отдал лучшую часть своей вукеллы, статные кони перебирали ногами по мусору Неория, косились на Зверя Апокалипсиса.

— Говорил же, не пойдет он, — раздраженно крикнул Андрей портовому арсанарю. — Давай поворачивай журавля, по воздуху зверюгу перетащим.

Застонали, заплакали отсырелые катки под портовым гераном, заскрежетало ступальное колесо, канаты поволоклись биссектрисой меж сходящихся брусов стрелы. Верблюд гордо проигнорировал гроздь веревочных петель, повисших над его горбами.

— Да Боже тебя упаси! — Траpezит прогнал сунувшегося было цеплять стропы арсанарю. — Зашибет!

Полез сам, похлопывая по лоснящейся шерсти, внушал бессмысленные ласковости. Опясал любимца в три нахлеста, отскочил, махнул начальнику гавани. Медленно, нежно, геран приподнял Зверя Апокалипсиса. Верблюд повисел некоторое время, раскачиваясь, над замусоренной землей Неория, потом его потащило вверх и в сторону корабля. Животное не только спокойно переносило процедуру, но, судя по спесивому выражению морды, наслаждалось оказанным ему вниманием и высотой положения, на которую было вознесено.

Тут в порту появилась гомонящая ватага: на плечах заскорюзлые кожухи, в волосах колтуны, но оружием обвешаны обильно. Предводительствовал наименее грязный из них, ножны поблескивали золотыми накладками. Грозно хмурясь, тыкал пальцем

в сторону германовых хеландий. «Ничего не понимаю», — качал головой арсанарь. Воинство сердилось, хваталось за парамерии. Даймон с наслаждением ринулся скандалить, тыкал кулаком в грудь, перепробовал ругань на трех варварских языках, стая германского воронья не желала угомониться. Наконец прибежал припозднившийся дворцовый вередарий, объяснил: это гепиды. Василевс в последний момент расщедрился и послал на подмогу экспедиции ни на что не годных вояк, пожалуй, единственных уцелевших после разгрома, который шесть лет назад авары с лангобардами учинили племени Кунимунда. Племянник последнего царька прибыл в Константинополь под мышкой у арианского епископа Тразарика, но, поскольку под другой прибыла и уцелевшая гепидская казна, остатки истребленного племени приласкали и приютили. Теперь, видно, они Юстину окончательно надоели своими требованиями, буйством, нежеланием ходить в баню и учить человеческий язык. Предводителя же зовут Рептилон, он носит головеровые штаны и немного обучен греческому.

— Их десять охломонов всего, — Даймон подскочил, чтобы огорчить. — А скандалу на целый легион.

— Садить! — гаркнул Рептилон, подойдя к сходням.

Герман, впрочем, рад был и гепидской подмоге. А любовь к дисциплине он арианским хорькам сумеет внушить, пусть даже для этого придется сломать племяннику Кунимунда позвоночник о корабельный борт. Больше знаками, чем разговором, объяснил вождю, что доблестным гепидам сейчас следует хватать кули с мукой и амфоры с маслом и грузить их на судно.

Со свернутой в трубочку граммы, которую Тиверий передал Герману, свисала наскоро оттиснутая свинцовая печать.

— Скупое, — оценил Герман, пробежав глазами скорописные строчки, удостоверяющие только личность и чин парафилакса. Ни слова о праве отдавать приказы местным чиновникам и куриалам. Помял в руках малолубедительный документ.

— А кто там есть из архонтов в Петре или в Фасисе, с кого можно спросить помощи?

— Архонты там чайки да ежи, иногда медведи с гор забредают, — туманно ответил Тиверий. — Даже и такую грамотку с великим трудом выпросил у царя.

Кони вукеллариев привычно цокали по доскам сходней. На гепидских кожных ветеранскую грязь припорошила мука, расплылись масляные пятна. Кормчий сурово изучал игру сбегаящих к пристани волн. Даймон занес ногу над бортом — «А привиделось!» — и решительно прыгнул на палубу, оставив пытку подозрений на берегу.

Поднялись и опустились весла, ударили танцующую воду, начали мощно загребать, выпутывая хеландии из клубков замысловатых течений Золотого Рога. Лишь на углу Морских стен упали с рей паруса, хлопнули, надулись, и корабли повернули к чернеющему невдалеке горлу Боспора.

Хрисафий неторопливо, с чувством читал молитву, колыхнув обильной плотью на амине. Ремора заскулила, перебирая лапками на соленых камнях опустелой пристани, ветер шевелил ее грязно-белые курчавинки. Ткнулась в ноги хозяину. Филиппик нагнулся, погладил собачку и снисходительно спросил, глядя в верные глаза: «*Quid terras alio calentes sole mutamus?*».

— Вернется, уцелеет, — уверенно подвел итог Тиверий. — «*Patria quis exul se quoque fugit?*». Пойдем. Остается только ждать.

— Эх, надо было самому с ним отправиться, — вздохнул Маврикий.

По воде прилетел злобный рев верблюда, которому что-то сильно не понравилось в трюме, или же он столь неизысканным образом прощался с приятной константинопольской жизнью, с блестящей будущностью столичного обитателя и сытной кормежкой.

Казалось, мачты и реи обсыпаны то ли крошками звездного огня, то ли искрящимися кристалликами соли. Герман стоял на носу с пожилым и верящим в неизбежность всего худшего навклером. Впереди в лунной дорожке неслышно летели серые тени дельфинов. Широко разбрасывая ноги, подошел командир вукеллариев. Послушал, как

навклер ноет: хорошо бы на ночь укрыться в ближайшем порту, но никогда не знаешь, может, там склавины засели или еще какие пираты. Может, и наши. Но если и ромейская там власть, то дело может похуже обернуться. Какой-нибудь протевон наизгаляется, оберет, а пикнешь, так под плети и в тюрьму.

— Ну, протевону можно кишки выпустить, — хладнокровно заметил Герман, утомленный вечными купеческими стенаниями. Навклер осекся, отшатнулся.

— По крайней мере, пообещаем, что брюхо вспорем, — стал смягчать Герман. — А тогда, глядишь...

— А тогда, если не вразумится, то кишки обязательно на мачту наматываем, — оживился командир вукеллариев.

Из трюма выполз еще один сна не нашедший Маврикиев телохранитель, подобрался к двум матросам, сидевшим за мачтой спиной к ветру. Стал жаловаться: неудобно при качке по палубе ходить.

— Так ты подошвы смолой натри, — лениво посоветовал матрос.

— Как это? — не понял вукелларий.

— Да как обычно натирают, — матрос для наглядности задрал в темноте ногу и хлопнул себя по сапогу. — Обычное дело. Подошвы немного приклеиваются. Чтобы не падать.

— А где у вас смола? — заинтересовался вукелларий.

— В бочке на корме, пойдём-ка туда, смажем тебе сапожки, дело обычное, привычное...

Со всей возможной предупредительностью натерли ему подошвы смолой, предложили на пробу пройтись.

— Эге! — не совсем веря, прислушиваясь к смоляному скрипу, вукелларий сделал осторожный шаг, потом увереннее пройдясь по палубе. — Действительно, удобнее. Спасибо, ребята.

— Чего там, если еще сугубо морские затруднения случатся, совет понадобится... Обращайся.

Навклер почему-то всхлипнул сдавленным и отвернулся.

Наутро те же два матроса под предлогом целебного действия морского воздуха выта-

щили нового приятеля на палубу и держали своими разговорами на самом горячем от солнца месте. Потом, переглянувшись и еле заметно друг другу кивнув:

— Ну, пора нам, дела... — быстро ушли. Вукелларий доброжелательно помахал им рукой, попытался сделать шаг — и свалился, выдернувшись из приклеенных сапог. Матросы, далеко не отойдя, повалились на палубу, хохоча, ударяя себя по животам. Но обозленный вукелларий быстро вскочил, мазнул розовую соплю под разбитым носом, и вот уже кормчий орет: «Парус спускай! Табань!» — а один из шутников-матросов, развинчиваясь в воздухе на бестолковые взмахи рук-ног, перелетает через борт, другой шустро лезет на мачту выполнять приказ протокарава. Рассвирепевший вукелларий подпрыгивал у мачтового гнезда, стучая босыми пятками. Судно кое-как остановилось, угодившего в воду шутника выловили. Обиженный вукелларий, впрочем, быстро успокоился и потом время от времени, столкнувшись с испугавшимся матросом, холодно подшучивал над ним, не желает ли тот снова получить урок морского дела, не нуждается ли в целебном действии морской воды.

Шли все время в близком виду берега, навклер старался почаще причаливать: то вода свежая нужна, то дерево для починки ветхой обшивки. Дни тянулись монашеской зевотой, ночи и вовсе не выказывали намерения кончаться, невозможно забыться в сырой трюмной духоте, в полусне ноги сами выводят на палубу, наблюдать, как подступающая весна ратью восточных светочей теснит созвездия уходящей зимы, слушать струны волн, певуче вопрошающих: «Кто ты? Откуда? Каких ты родителей? Где обитаешь?», и вбирать в грудь смолу сосны и слезы соли. А днем опять стоять у запачканного кухонными выплесками борта или бродить по палубе, подбирая у Гомера эпитеты превращениям красок моря. Виноцветное. Черноводное. Слепец прав, бывает и пурпуровое.

Забормотался гипнотическими стихами, запеленался в гибкие потоки света, отвесные и отраженные, вот и помрачилось настороженный рассудок; между двумя колебаниями де-

ревянной тверди сердце вдруг угадало, что именно в пределах нескончаемых римских земель должно завершиться его бестолковое странничество. Наступит конец, которого он вождедел с испугом и надеждой. И тогда каждая его косточка успокоится, сделается землей империи. Пусть Новый Рим призовет потом кого-то другого, такого же испуганного и гордого странника. Где и когда бы он ни появился на свет, рано или поздно дорога заведет его в пашенные равнины, пчелиные горы, библиотеки, рынки, морские хляби и лабиринты дворцовых коварств, он тоже будет драться за них и тоже ляжет в землю империи. Потому что она и есть смысл нескончаемых поисков, она порождает и призывает таких людей, как Герман, использует их и в конце концов — пусть этот конец невыносимо отдален — принимает в жертву собранные в горсть праха преступления, измены, еретическое многознание, дружбу, житейские короткие радости, и очищает от пролитой крови душу, которая, говорят христиане, все же бессмертна.

Гепиды первые дни безвылазно сидели под палубой и почти непрерывно хлебали жидкую афиру, которой много наболтали впрок из натасканных ими кулей и амфор. В конце концов и они стали выбираться на воздух и свет, усаживались на корме вокруг Даймона, слушали его баснословные рассказы. Там же заимели привычку околачиваться не занятые работой матросы, жаждающие развлечения вукелларии, а самым внимательным слушателем и придирчивым цензором стал трапезит Андрей.

— Стало быть, Фламиниевой дорогой добрались до Ариминия, а там уже до Плацентии ведет дорога Эмилиева...

— Почему из Ветхого Рима морем не шли, до Диррахия? — прервал один из вукеллариев, вида самого богатырского. — Этакый крюк завернули.

Даймон замолк, всем видом показывая, сколь неуместны глупые придирки.

— Пираты, — Андрей пояснил снисходительно, как малому ребенку. — В Адриатическом море их всегда кишело, что пиявок в склянке у лекаря, а теперь еще и ланго-

барды их пестуют, ромейских купцов чтоб топили. Да и бояться усиления нашего флота.

— Так о чем бишь я?.. — очнулся Даймон.

— По Эмилиевой поехали, — уважительно напомнил богатырь.

— Да. Оттуда до Сирмия уже Виа Постумия, а потом к Константинополю отходит Диагональная, или же Военная, дорога.

— Приходилось ее топтать, — со вздохом заметил вукелларий.

— А был такой случай. Едем, глядь, городок небольшой, можно сказать, дорожная станция. Гарнизона нет почти, но стены крепкие, а жители рьяные. Поэтому, когда подступила аварская конница, особо не беспокоились: варвары осадных машин не имеют, приступу стен не обучены, а со стороны моря можно ждать подкрепления...

— Почему-то все надеются, будто господин Константинополя всегда имеет наготове сильный отряд, — бестрепетно вклинился трапезит. — И непременно посылает его к любому городку, который разбойничья шайка обложит. Во Фракии и Паннонии такое каждую неделю приключается, у государя будто других забот нет, кроме как выручать каждый городишко.

— Про заварушку-то, — подтолкнул Даймона вукелларий.

— Но авары наскоро соорудили плоты, и громадные камни затопили у входа в гавань, — на трапезита маленький рассказчик не обиделся. — Даже рыбаки выйти в море опасаются. Голод настает. Авары у стен скачут, мечут стрелы. Горожане делали вылазки, не помогло. До переговоров дело не дошло, ни одна сторона говор другой не понимает. Да и понятно, что осаждающие не только пограбить, но и порезать всех желали бы.

А тут мы.

Горожане, завидев нашу убогую гармату, а при ней статного всадника на коне, невесть что вообразили, ринулись снова на вылазку. Всех бы их, храбрецов, побили, пожалуй... Герман выругался, Скейдбримиру в ухо секретное слово шепнул и в одиночку помчался. Меч выдернул, плащ вьетса. Это он умеет, страх навести.

— А ты?

— Не мула же мне выпрягать. Пошумел, пострелял издали из гастрфета.

И с эпической силой описал, как, внезапной буре подобный, налетел его друг на ошеломленных грабителей. Варваров тогда под городком оставалось с полсотни, и как-то они совсем не ожидали нападения с тыла, пусть даже героически одиночного. Герман с налету принялся крутиться в толпе супостатов, сек в спины, силой замаха жертвуя быстроте, потому не насмерть разил, а больше увечил.

— Для них самый страх — оказаться взятыми в клещи, — блеснул тактической опытностью вукелларий, и шрамы на его лице сделались сизыми от приятных воспоминаний.

— Когда это приключилось? — спросил Андрей.

— Месяца два назад, не больше, — ответил Даймон. — В памяти свежо.

— Удивительно, — рассудил трапезит. — Не далее как неделю назад слышал я на проповеди рассказ о всаднике в одеянии белом и на белом коне, который будто бы в одиночку в прах разбил и развеял осаждавших Фессалоники варваров. Тысячами под его мечом падали.

— А я слышал, что Святой Димитрий явился навклеру корабля, который шел из Египта в Константинополь с хлебным грузом, — вставил кто-то из матросов. — И велел ему поворотить к Фессалоникам. Но на входе в гавань встретились им зубчатые камни, торчащие из волн. Это которые авары навалили. Тогда великомученик пошел по водам и указал безопасный проход.

— Конь-то у твоего Германа белый, — припомнил вукелларий.

— А Салоники-то — станция на Эгнациевой дороге, не на Диагональной, — подошедший тихими стопами Герман положил ладонь на костлявое плечо словообильного друга. — Залив Термаикос камнями просто так не завалишь. И плащ у меня был не белоснежный, как ты помнишь, а такой, что хорошему коню на попону стыдно пустить.

Рептилон беззастенчиво заржал, ерзая шелковыми тувиями по палубе. Прикус

у него неправильный, зато величине зубов любой осел позавидует.

— Слушайте загадку, — объявил Андрей, уводя разговор от поругательства священных легенд. — Мужчина, да не мужчина, бросил камнем, да не камнем, в птицу, да не в птицу, которая сидела на дереве, да не на дереве.

Гепидский вождь перестал реготать и задумался. «Мудрено», — почесал нос вукелларий. «Дерево, да не дерево, — прикидывал Даймон. — Мы вот сейчас на дереве сидим, но не забрались на сосну. Корабль, что ли, имеется в виду?».

— Пемза! — радостно выкрикнул Рептилон. Какое-то время туго осознавали, что это решение второй части загадки, потом все зашевелились, скептически захмыкали, какое там «пемза», мудролюб нашелся, но Андрей важно кивнул: правильно. А мужчина — не мужчина, это...

— Бабень! — снова возликовал жизнерадостный гепид. — Или резаный ваш придворный. Клу-клу! Евнух, да.

Опять обидно угадал, кружок вокруг Даймона заворчал раздраженно. Так он всю загадку разгадает и выйдет первым разумником, а им, грамотным ромеям, получается три обола цена. Даймон с надеждой взглянул на Германа, но тот беспомощно пожал плечами. Птица — не птица...

— Фледермаус! — а поскольку почти никто не понял, Рептилон перевел:

— Мышка с крылышком. По ночам порх-порх.

И с торжествующим видом припечатал, что недерево — это дерево, но маленькое, гибкое, на котором растет виноград. «Да он знал!» — загудело на палубе. Андрей с интересом изучал туповатую физиономию Кунимундова племянника.

— А хоть попал он в нептицу-то? — вдруг перестал радоваться и озабоченно спросил гепид.

На корме к тому времени собрались даже те, кому полагалось парус ворочать и с мачты вдаль на морскую дорогу смотреть, в два ряда обступили. Даже навклер подошел послушать интересный разговор.

— А вот еще интересные грифы Соломону царица Савская загадывала, — начал Андрей. — Колодезь деревянный, ведро железное, черпает камни, выливает воду. Что это?

— Сурьмило, — сразу ответил навклер, смеясь. — Женатому человеку устройство известное.

— Тогда посложнее, — не унимался трапезит. — Что за ограда с десятью дверьми, когда одна из них открыта, то девять замкнуты, а коли открываются девять, закрывается одна?

Все посмотрели на Рептилона, но тот, похоже, не понял даже половины сказанных слов. Андрей принялся растолковывать, что в женском лоне у плода десять отверстий, но все зажмурены, кроме пуповины. Только когда человек рождается, открываются его глаза, уши и прочее, но повитуха пупок перевязывает.

От такой затейливой премудрости слушатели поскущели, но расходиться пока не надумали.

— Загадочного в нашем мире много, — Даймон решил отобрать у трапезита всеобщее внимание. — Вот царица Савская, например, которую еще сивиллой Никавлей называют. Шла она в Иерусалим к царю Соломону, и на пути ей встретился ручей. Поперек лежит деревянная доска. Но по мостку этому она через воду не переступила. А встала на колени и приклонилась низко к сырой земле, потому что знала: негниющая доска вытесана из дерева, что проросло из Адамовой могилы. Праотцу нашему ведь при погребении в рот положили ветку древа познания добра и зла, а она дала росток. «Се древо, — молвила, — на нем же Бог, облеченный плотию, умрет в воскресенье».

Наставительно обвел всех затуманившимся пророческим взглядом:

— Вот такие чудеса. Ручей она потом вброд перешла, и оттого ее ноги, доселе звериные, превратились в обычные человеческие.

Кормчий истошно заорал, чтобы Лампадий-прорей немедленно уши прижал и отпирался на нос, где ему полагается, не моргая, взирать на подстерегающие опасности.

Несколько матросов вздрогнули и тоже отпрянули от кружка ценителей баснословных рассказней и прихотливых загадок.

— До сих пор, говорят, сивиллы по земле ходят и загадочные слова говорят, — начал новую историю Даймон. — Когда мы ковыляли уже по Диагональной, заглянули на один постоялый двор в Иллирике.

Огляделся, удостоверился, что Герман отошел.

— Ну, Иллирик... Вместо деревень уголья, на полях человеческие кости растут взамен пшеницы. Местность вокруг запустела, по дороге ни одного купчишки не попалось, народ там привык передвигаться по ночам и от торных путей в сторонке. Пандохий — хибара глинобитная, грязи перед порогом, что в стратиотском афедроне. Кроме соленой рыбы и лепешек, ничего не допросишься. В катаропотии, полной дыма, одинокий склавин вином из кувшина на скобленный стол плескал, уже не мог попасть в ангию. Сели мы за стол, хозяин подскочил, приветливый. Вино подливает, расспрашивает, откуда и куда, какое добро с собой возем и не видали ль по дороге чего интересного. Герман говорит хозяину: а почему иллирийские разбойники, норовящее всех посечь и все в дым пустить, тебе жить позволяют и даже пандохии твоей позволили существовать и редких путешественников обслуживать? И сам же отвечал: должен ты, стабулярый, как-то откупаться. Чем же ты откупаться можешь, если совсем не богат, денежками и в праздничный день не названиваешь? Только шепотом в ухо, согладаясь, собираем слухов, продажей своего звания честного ромея в обмен на неделю-другую привычной жизни, пока вот такой — кивнул на пьяного склавина — однажды, наплевав на все ценные сведения о военных приготовлениях и о купеческих выездах, тебя просто так не пристукнет, и жену твою и дочь... Ага, завертелся...

Чухлый садик у стабулярия за домом. Герман его туда выводит и оглядывается, на каком деревце сук надежней. Я веревку хорошую в чулане подыскал, подношу. Хозяин дрожит, ноги ослабели, наземь повалился.

Тут, глядя, по дороге женщина под- ходит. Одна, без спутника. А молоденькая, собой премила, косы вокруг головы по- девичьи оплетены. По нынешним временам, к жилью или вот ко ксенодохию приближа- ясь, надо в руках меч иметь обнаженный...

— Или хоть дубинку, — поддержал ву- келларий.

— А она беззаботно вертит лавровой ве- точкой. Прихрамывает слегка, будто ножку натерла. Мимо дверей прошагала, сразу к нам, в садик. «Что, — говорит, — прекрас- ные мужи, куда держите путь, какую радость в жизни земной ищите?» — а сама веточкой меня по руке легонько хлестнула, и веревку я уронил.

Герман, несмотря на юные и неразумные годы странницы, отвечает замысловато. Мол, ищу я свое начало, потому что без него и конца своего, чувствую, не найти.

«Что ж, — говорит юница, и лавровой веточкой игриво машет, и куда более за- мысловато изрекает. — Путь твой к концу подойдет, когда возьмешь на себя чужую вину, чужой подвиг и не тебе назначенное счастье. А произойдет это не на медном гу- не, не на токе мраморном, а на перекрестке дорог, только уж не знаю, земных ли, небес- ных... Встретится тебе еще одна женщина, но уже пожилая, и без грудей, она точнее скажет. А ты, никак, птоха сего жизни лиш- ь желает?»

Есть за что, Герман сердито молвит. Пре- дателю известный положен конец, и свя- щенные книги разных народов примерами позорной смерти отступников изобилуют.

«Тебе ли о Священном Писании толко- вать? — сердится девица. — Когда я гибель Трои предрекла, тогда же провидела, что слепым старцем она пропета будет со мно- гими нелепыми вымыслами».

Герман не унимается: вино не следует маковым настоем разбавлять, а у здешнего угощения даже вкус рододафны в первом глотке заметен.

«Да ты, — издевательски щурится, — со- брался рассудить, что есть добро, а что зло? Ведь даже из серебра, что царица Савская принесла в подарок Соломону, через много

лет начеканили сребреников Иуде Искарио- ту. Нет тебе дела до чужого греха, до смерти и славы других людей. Ступай, ищи свои».

Веточку в сердцах бросила, повернулась и ушла, а в придорожной пыли остались сле- ды ее ножек: отпечаток гусиной, с перепон- ками, лапки да вдавленное козье копытце.

Я эту веточку подобрал и старался со- хранить. Только известное дело, листочки сохнут и крошатся, вот что от нее осталось.

Даймон полез за пазуху и вытащил два склеившихся, с краев повыщербленных лав- ровых листа. Их предъявление палубной братии поставило ошеломляющую точку рас- сказанной истории. Уставились на листики, как на иерусалимскую святыню, свидетельство встречи с нечеловеческим промыслом.

— Герман наушника-стабулярия отпу- стил. Бог, сказал, тебе судья, а нам подай комнату чистую, коню несорного овса.

Даймон убрал свою реликвию обратно за пазуху и замолк в ожидании коммента- риев.

— Сказки, — подумав, Андрей пренебре- жительно щелкнул пальцами.

— Интересно! — запротестовал могучий вукелларий.

— Тебе, Пантевген, не к лицу овечья до- верчивость, — сокрушенно покачал голо- вой трапезит. — Сам подумай: не может быть, чтоб даже у плохонького владельца придорожного мансиона, даже в истерзан- ном Иллирике, не имелось в хозяйстве коз и гусей.

— Гуси были, видел, — добросовестно подтвердил сказитель.

На второй хеландии, видимо, не име- лось даровитых болтунов. Скинув стеганые бомбакионы, вукелларии проводили время, яростно топчась и прыгая в кордаке. Вскоре после этого небо морщили тяжелые склад- ки, начинала сыпать снежная крупа. Демо- ны скверной погоды, должно быть, полагали, что плясовым своим заклинанием людишки призывают бурю и пронизывающий холод. То северный апарктий, а то юго-западный липс поворачивались к маленькой флоти- лии раздутыми, серыми от натуги лицами и принимались выдувать аккомпанемент во-

инскому танцу; тогда все без понуканий сядились на скамьи гребцов, и Герман брался за то же весло, что и одышливый навклер.

Несмотря на обнажившееся в неосторожном слове жестокосердие Германа, а может, и благодаря ему навклер предпочитал притыкаться к берегу подальше от крупных поселений. Однажды в малой бухточке встретили керкур из Таврического Херсонеса, торговцы везли в Константинополь огромные горшки, почти цистерны деликатеснейшего соуса-гарума. Запах тухлой рыбы воодушевил едва не до безумия (если полная потеря соображения может случиться в желудочных провинциях рассудка) вукеллариев и матросов, но совершенно подавил обоняние и способность здраво мыслить у непривычных к изысканностям ромейской гастрономии гепидов, да и у Германа с Даймоном. Матросы с херсонесского керкура, чья речь пестрела лоскутами варваризмов, подобно греческому паллию, облепленному скифскими заплатками, жаловались, что весь путь глотают голодную слюну, а в животах бурчит столь басовито, что ни флейте, ни барабану ритм гребцам задавать не получается. Но купец близко к гаруму — самому соблазнительному, из печени красноперки, да с ароматной солью — близко не подпускает. Да, мимо Петры они проходили, но не высаживались, со стороны моря там никаких перемен не видно. Дымки не вились, стуков строительных не доносилось.

Будто отрешившись от досужих рассказов, Даймон первую вечернюю звезду встретил на корабельном носу, зачарованно слушал гудение килевой лесины, раздраженный скрип канатов. Трапезит решил составить ему компанию.

— Некоторые древние философы говорили, что человек создал богов.

Андрей с готовностью ухватил возможность еще раз просветить некрепкого в постулатах веры дружка.

— Конечно, можно и так выразиться. Учитывая, что эллинские боги есть бесы.

— Вот-вот. А самый-то главный бес, несмотря на всю свою силу, не способен даже живую травинку создать.

— И песчинку безжизненную. Только бесплотные видимости выколдовывает, моров нагоняет и прельстительные видения.

— Так дело в том, — оживился, подбираясь к главной мысли, — что сам дьявол тоже иллюзия и есть. Как в древности люди выдумали себе Аполлона и Вакха, так и мы сейчас постоянно сами себе навеваем новую иллюзию. Зло сидит в нас, и его эмано... Э...

— Эманациями?

— Ими. Образуется дьявол. Пока мы злы, дьявол существует. Потому он так боится доброты — не хочет исчезнуть.

— Не только доброты, но и работы, — авторитетно добавил трапезит. — Труда он, по-моему, тоже должен страшиться. А что это тебя на столь беспокойные рассуждения потянуло?

Даймон молчал, вспоминая, как тверда оказалась иллюзия, о которую он стукнулся лбом на Августеоне. Сам себе боялся признаться, что огрел его по черепушке дьявол, а кто же еще. Значит, много зла сидит в небольшом костлявом теле. Так а добруто откуда ж взяться? Вот плывут сейчас на войну, а Даймону очень хорошо ведомо, насколько Герман-боец отличается от Германа-книжника. Для него жизнь человеческая дешевле какого-нибудь папирусного обрывка с излитой древним сочинителем скукой. Много дешевле.

Это Бесса погорячился, как всякий героический военачальник, у которого задчется в ожидании крепкого пинка пурпурным кампагием. Ничего он Петру не «сровнял с землей». Петра выглядела, как гнилозубый стариковский рот. На оглодках трехкупольной церкви еще различимы были буколические мозаики, но померкшую их цветистость заглушали ползучие травы, мигающие крохотными голубыми и розовыми звездочками. Именно они да еще желтоватая яичная скорлупа, оставшаяся после отлета шумливых крачек, составлялись в мозаики брошенного людьми города. Вместо прежнего каменного декора обомшелые развалины украшали надменные барельефы полудрагоценных ящериц. Понтийский

рододендрон без сопротивления захватывал бывшую римскую крепость, лазутчиком просочилась в нее сизая черника. Разве стоило осведомляться, кто тут из римских архонтов обретается, римские архонты в Петре — это чайки да ежи, да изредка выбредет с гор медведь в засоренной еловой трухой шубе.

Бесса так и не смог взять Петру. Подгоняемый безнадежностью, сам лез на стену, грузный, кособрюхий, его сбрасывали, он кулем наземь валился, вукеллари, прикрыв щитами, едва успевали оттащить старика в безопасное место, но, едва отдышавшись, снова хватался за перекладыны осадной лестницы, хрипел отбитыми внутренностями и снова валился. Старался, оправдывался за давний позор, за сдачу Рима буйным готским толпам Тотилы. Старый хрыч не взял Петру. Он ее сжег — очевидно, горючими стрелами-маллеолами, за два века до того описанными Аммианом Марцеллином.

Так или иначе, города больше не было. Закопченный обглодыш торчал на верхушке мыса, морские обводы которого ну никак не давали надежды на обустройство гавани, тем более верфи. Даже хеландии, на которых прибыл немногочисленный римский отряд, пришлось вытащить на галечный берег. Зачем же тогда, в царствование Юстиниана, именно к Петре стремились персы, отягченные запасами корабельного леса? Того самого, который якобы сгорел от промыслительного удара молнии. Можно догадаться, что на самом деле пронырливые катаскопы римские подгадали к темной грозовой ночи да и подожгли персидские кораблестроительные запасы.

Сейчас опять идут сюда, тащат килевые стволы и доски для обшивки. В дневном пробеге от обломков Петры, аллагиях в пяти-шести, стоит эмпорий Фасис, коему дала имя впадающая в Понт маловодная река. Вот там и порт, и верфь. Но дорога на Фасис одна-единственная, вдоль моря, по узкой полоске. А над полоской — Петра. Сожженная, раздолбленная, раскрошенная, она по-прежнему контролирует главную дорогу Лазики. Персы не рискнут на обход по горным

клизурам, да и не протащат они там запасы своих бревен и досок.

Так Герман оценил обстановку. Решение, стало быть, следующее: ломать остатки построек, камни скатывать по склону к морю и там, на галечной узости, возводить стену. Тесноты меж прибором и холмом надежнее, чем классические Фермопилы, а персам нельзя позволить подобраться к кораблям. Да и в темную ночь они, пожалуй, способны будут вскарабкаться по кручам подобно легионеру-лигурийцу из войска Мария, что, цепляясь за корни, пробуя стопой неверные каменные выступы, поднялся к недоступной горной крепости, хранившей царские сокровища Югурты.

Ров и вал — прежде всего, на южном направлении, там, где персы свернут с прибрежной дороги и начнут взбираться на холм.

К вечеру из Фасиса явилась делегация куриалов. Соскочили с повозок, важно отряхнули пыль с богато расшитых одеяний. Стояли кучкой, оглядывались, будто ждали, что к ним сейчас подойдет благосклонное начальство. Когда ожидание становилось уже смешным, старейшина, объятый крашеной бородой, как купина пламенем, снизошел до того, чтобы поманить пальцем молодца, пробежавшего с двумя кольями на плечах.

— Вон начальник, — оттопыренный большой палец взлетел над плечом. — Кайлом машет.

Тусклые искры летели из-под железного клюва, долбившего неуместный взгорок. Герман выпрямился, вытер лоб. Фасиотов словно сетью сгреб и подтянул его утомленный взгляд, позабыв о подобающей важности, потекли аморфной ликвой, увязая в комьях взрытой земли, перепрыгивая через вывороченный плитняк. Перебивая друг друга, бородами тряся, широкие рукава развевая, принялись жаловаться на командира вукеллы, что явился в их город, потребовал отдать все повозки, мулов и лошадей, заступы и топоры, и вообще желает всех здоровых пригнать сюда и заставить копать, копать, колья рубить, глину месить и

снова копать. Утверждает, будто по приказу почтенного парафилакса. Герман молча оглядывал делегацию, среди возмущенных горожан греков-то и нет почти — лазы, армяне, кажется, даже персы

— Баппон поступил неправильно. Будет наказан, — пообещал Герман. Куриалы шумно возликовали, некоторые, которые понаглее, стали протискиваться к Герману, как бы для того, чтобы потрепать панибратски по плечу.

— Он не должен был с вами спорить или упрашивать, — пояснил Герман, чуть отстраняясь от тянущихся рук. — Всякого, кто осмеливается ему возражать, он обязан топить в реке. Или отсекал голову. Вот я вижу среди вас персов...

Делегация прекратила шевеление, одобрительные возгласы примолкли. На некоторых лицах отпечатался ужас, на иных блуждала улыбочивая растерянность.

— Не бойтесь. Когда есть возможность не убивать, я убивать не стану. Всех городских персов посадить под надежный замок. Но если кто из любопытных или сердобольных горожан к этому замку подойдет, тому отрежу голову. И всем персам Фасиса заодно. Городским куриалам отрублю руки.

Незлой усталый тон, каким это было обещано, произвел потрясающее впечатление. Молоденький армянин в желтой поцыплячьей далматике даже закатил глаза и, обморочно икнув, свалился на комья выброшенной лопатами земли, и его никто не озаботился подхватить, так и лежал, с подвинутой под спину рукой.

— И вот что я еще вам скажу... — сощурился сатирически, — ...квириты. Завтра все городские мужчины, кроме младенцев и глубоких стариков, должны работать на южном склоне, рыть ров и насыпать вал.

Подвел итог:

— Через три дня работа должна быть закончена. После этого всех отпущу, кроме мужчин от восемнадцати до пятидесяти лет. Очень хотелось бы, чтобы они побеспокоились явиться с собственным оружием. Потому что у нас оружия мало, и тем, кто не принесет своего, драться придется палками

и камнями. Прощайте, жители славного городка Фасис, и пусть сохранит вас Христос от ошибок и недобросовестности.

Ночью жгли костры, перекаливали на известь уцелевшие обломки мрамора. В прыгающем зареве огня в две смены копали, копали, копали ров и громоздили камни. Утром прибыли дрогнувшие фасиоты. Послал Баппона сказать, чтоб рубили деревья поветвистей и тащили сюда, укладывали вдоль цепочки забитых колышков. А как выполнят урок — он к вечеру должен быть выполнен — ночью чтоб разыскали глины, жидко, но не слишком, развели, и деревья, крона в крону уложенные, ветвями перепутанные, жижей заливали. В третью стражу он, Герман, придет и проверит.

Среди ночи, впрочем, не парафилакс с проверкой нагрелся, а прибежал маленького росточка злющий варвар, всех обругал, потом похвалил. Дело-то двигалось. Особенно одобрял, что еды с собой привезли, много. К полудню сделали обед. После обеда сам Герман, опоясавшись новеньким цингулом, устроил смотр фасиотскому воинству.

Походил вдоль шеренги, крикнул. Вооружение разнобойное: этот заткнул за пояс обоюдоострую галльскую спату, другой перекладывает с плеча на плечо неудобную славянскую теслу, третий поигрывает тонким однолезвийным кордом. У кого пилум триария-ветерана, кто в ушастом шлеме мурмиллона, продранные лорики, щиты со сбитыми умбонами, изрешеченные стрелами. Но вид у большинства достаточно браваый, будто только сейчас уразумели, чего им не хватало в жизни богатеющего эмпория: приключений, подраться.

Попробовал разбудить военный инстинкт. Стройся в колонну. Перестраивайся в шеренгу. Теперь вперед шагай... Шеренгой, не врассыпную! Строй держи. Держи строй, вот тебе, по ноге, по ноге непонятливой.

У меня дубинка в руках, не меч. У тебя щит настоящий, так что не трясись. Я замахиваюсь. Показываю медленно. Да не заслоняйся просто, а щитом в сторону мою дубинку отбивай, потому что я сделал выпад

издалека, досталось бы самым кончиком, а не всем лезвием. Рубяще-колющего удара твой щиток не удержит. Теперь вот эти замечательные опытные воины дружно бросят в вас копья, то есть жердины, тупые, не заостренные. Что вы должны сделать? Правильно, чуть рассредоточить строй, чтоб вольнее было увернуться или жердину на лету отбить. А коли враг подбежит с акинаками да топориками, наоборот, теснее встать, покрепче в землю впаяться. Принять волну на сомкнутые щиты, а потом сразу идти вперед, рубить, колоть, полосовать... Ну, этому на словах не научишь, талант сам пробудится в нужный момент, если такой талант от рождения заложен.

Герман знал, едва ряды сойдутся и начнется настоящая рукопашная, всем этим слегка обученным воякам покажутся странными, неузнаваемыми самые знакомые вещи: солнце в небе — на которое они умудряются заглядеться в самый неподходящий момент, их собственная рука, вцепившаяся в какую-то железную штуку, по которой бурое течет, наконецник копья, воткнувшийся им в бок, и собственная их смерть — особенно она, поскольку в рукопашной помрачается всякое осознание себя, времени, мира и естественных связей между ними. Кто-то будет петь, кто-то ругать жену, но о воинских кличах или спасительных молитвах никто не вспомнит, и потом еще долго будет оставаться бессмысленным вопрос, а кто же победил.

А днями теплело, с моря навеивало особенной весенней сыростью, крупнели звезды и пушители облака. Кифа, навклер с навечно просоленными губами, подошел и, себя пересиливая, осведомился, не сжечь ли хеландии. Герман оценил жертвенность, моряцкая любовь к кораблю-дому ему была ведома. Наверно, старику Кифе погаже на душе станет, если суденышки в руки персов попадут. Не верит, что отобьемся. Можно понять. Велел снять канаты, всякую железную мелочь, медь, обшивку свинцовую содрать, тащить на крепостной холм.

Беззлобно, для острастки поревывал Зверь Апокалипсиса. Вукеллари в минутки

роздыха уже не на траве валялись, заботливо точили мечи. Матросы упражнялись вместе с ополчением Фасиса.

Вот и пришло утро, которого радостно боялись. Укрепления почти готовы. Новобранцам внушен оптимизм. Сперва вдоль прибрежной дороги пронеслась птичья стая, на подлете к Петре раздернулась, как полог, проредилась и растворилась в небе. Из-под нависшей крутизны выехали трое верховых, встали. Разглядывали остатки крепости на холме, новопостроенную стену поперек пути. Забрели в воду коням по брюхо, выглядывали, есть ли укрепления с северного конца дороги, нельзя ли будет чахлое препятствие просто-напросто обойти. Чайки, винтившие круги над пепелищем Петры, с мерзкими криками унеслись к далекой зеркальной грани, сливающей небо и море.

Конные разведчики вернулись к голове персидской колонны. После краткой заминки она зашевелилась и разделилась. Один поток стал неторопливо приближаться к перегородившей дорогу стене, струйка, из пехоты состоящая, вильнула вправо и быстро двинулась вверх по южному склону. Навстречу ей негусто полетели стрелы.

Конница, дойдя на расстояние полета камня, пущенного из пращи, стала забирать влево, вот уже лошадиные хвосты, как водоросли, распустились в морских волнах. Но полоса мелководья у берега неширока, зайти за стенку с моря можно было только узкой, в три коня, колонной. Встали у края глубины, видимо, совещались.

Как часто бывает, разумному решению созреть было не суждено, вмешалась случайность, произошла ошибка, а вероятнее всего, истерический порыв малоопытной молодежи привел к тому, что вдруг персы заревели и неорганизованной кучей поперли вперед, подвывая, копьями размахивая, падая пока что не от ран, но от морской травы, опутавшей щиколотки.

Конница решила-таки завернуть за стену с моря; Герман предусмотрительно поставил на опасный край матросов. Они выныривали из прибрежной пены под брюхами лошадей и кололи их гладиусами и короткими

кинжалами, хватив глоток воздуха пополам с соленой водой и кровавыми выплесками лошадиных внутренностей, снова ныряли, на них надвигалась, взметывая брызги из-под копыт, следующая тройка плотно, круп в круп, стиснутых лошадей. Скоро конница начала пятиться, задние ряды пытались развернуться, несколько всадников вместе с лошадьми соскользнули все-таки в близкую глубину. На этом краю натиск оказался отражен без особого труда. Всплыли в призмившей волне, зияя красными дырками в груди, прорей Лампадий, Бон-Лапоног и Темноед-Герасим.

Ох какими злющими осами зажужжали камни, пущенные из пращей по отмашке Даймона, — он стоял посреди береговой стены, а вместе с ним спешенная часть вукеллы. За камнями — певучие стрелы, следом молча чиркали воздух дротики. В первых рядах нападающих стали обильно падать, следующие за ними волны перешли на бег, перепрыгивая через поверженные тела товарищей.

Сошлись.

Над стиснутым пяточком сражения стоял треск, с каким надламываются молодые, полные сил деревья. Этот треск заглушал всё: безумный рык, трусливый вой, болезненное кряхтение, идиотский смех и вырывающееся из сотен ртов бессмысленное и неосознаваемое «а-а-а», потом переходящее в «ы-ы-ы», а в конце и вовсе в непредусмотренный человеческой артикуляцией звук, тяжкий и колеблющийся.

Откатились. Понуро, оглядываясь не без свирепости, кое-как организуя подобие строя, побрели обратно, к обозу, туда, где у значка на высокой пике их поджидали не прощающие неудач командиры.

На холме под остатками крепостных стен стояло ополчение. Самых опытных вукеллариев Герман в дело не пустил, они прятались со своими конями за обломками городских зданий.

Фасиоты выглядели столь воинственно, скверным своим оружишком размахивали так лихо, что персидская пехота стала притормаживать подъем по склону. Задние напирали, строй ломался. Тут опять вмешалась

случайность, но не ромейскую руку подержала: на сей раз не выдержал рассудок у бородатых вояк, и они рванули вниз по склону лупить смешавшихся персов — одно облегчение, что не всей оравой. После короткой свалки от линии персидских копий отбежали, задыхаясь и трезвея, на прежнюю позицию только двое уцелевших. Зато персидской пехоте бешеный наскок не понравился, она встала неподвижно, и видно было, что вот-вот начнет откатываться.

На мокром палии, разостланном по гальке, тяжело умирал старик Кифа. Пузыри у рта из розовых становились синеватыми. Он был в полном сознании. Даймон, сам раненный, стоял перед навклером на коленях, а Андрей смазывал ему шею своим трапезитским снадобьем.

Даймон, превозмогая боль, посасывал губу. Потом вдруг, с сожалением оглядывая поваленных в пыль персов:

— А тоже ведь люди. Шли сюда, корабельные брусы да мачты тащили по Кавказским горам, ломались через то самое ущелье, где когда-то сто римлян держали армию Мермероя. Скольким мулам ноги переломали, переправляясь через бешеный Акаμισий! А теперь вот легли тут.

Андрей осмотрел у старого навклера рану в животе и только рукой махнул:

— Он ведь всегда ходил на четыре пальца от смерти.

Пока Даймон соображал, что такова толщина досок корабельной обшивки, Кифа широко раскрыл удивленные глаза, запел моряцкую малоприличную песню про пьяного дельфина и умер.

Пехота со склона чуть отступила, но не ушла. Обозники принялись стаскивать с возок бревна, застучали топоры, заостренные комли угрожающе повернулись к выстроенной на скорую руку каменной ограде. Когда персы подтаскивали свои стенобитные тараны, вылазку, по малочисленности обороняющихся, предпринять не рискнули, только обстреливали подступающих, а в это время опять началось наступление по холму. Герману пришлось призадуматься: не пришла ли пора задействовать конных вукеллариев.

риев, а если да, то куда их послать, к приморской стене или на поддержку фасиотов.

Бревна, предназначавшиеся на постройку кораблей, персам удалось дотащить до ограды, она не выдержала ударов, в двух местах укрепление оказалось совершенно развороченным, почти везде камни, едва схваченные известью, а чаще — глиной, подались, вот-вот рассыплются. Утробно, помедвежьи взрыкнул бактриан, которому досталось по губам отлетевшей щепой. Запас хитростей и уловок кончался, делу предстояло решиться схваткой.

Так и вышло. Атаковали оба фланга одновременно. На крепостной пригорок огнепоклонники валили широким и густым потоком, сам момент сшибки потонул в облаке душной известковой пыли. Часть фасиотов струсила, побросали оружишко, понеслись, будто в сердце дрогнула природная намагниченная иголка, строго по направлению с родимому эмпорию; пришлось кивнуть Баппону, тот вывел конницу во фланг ворвавшимся на вал персам. Тут еще Рептилон с двумя соплеменниками ринулся в прореху, где гроздьё выпирали гортанно ревущие плотники да погонщики, наспех вооруженные, но обильные числом. Закружили-завыли секиры, в неразберихе крепко досталось и утекавшим ополченцам.

Пыль никак не оседала, потом вдруг сделалась какая-то передышка и отрезвление, враз у всех заныли ушибы, вскипели ссадины, болью брызнули надрубленные пальцы, понеслись охи, кашлем выходил припозднившийся страх. Увечные, пошатываясь, отбредали на два-три шага и садились на землю, держась за липкие раны.

Вроде опять победили, надо же.

— Что-то ты не геройствовал нынче, — желчно попрекнул Даймон.

— Другие много геройствовали, — равнодушно ответил Андрей и с хрустом потянулся, разминая кости. Перебрался из тени на пригретое солнцем местечко. — Я все больше высматривал.

— Чего?

— А ты не приметил, у персов в третьих-четвертых рядах баба не вертелась?

— Какая еще баба? — Даймон опешил.

— Скифская, — веско отмерил сведения трапезит. — У скифов женщины такие бывают, что, коли их разозлить, могут убить взглядом. На расстоянии.

Даймон зловредно отмолчался. Все равно трапезит свою байку дорасскажет, не утерпит.

— Еще со времен царя Дария старались таких баб отыскать. В бою им цены не было. А недавно до меня дошел слух, будто у персов снова появилась такая зверская девка, издалека убивающая.

Вокруг них опять столпились и развесили уши только что стонавшие, ругавшиеся, в уме вертящие мыслишку, как бы от неминуемой гибели улизнуть.

— Одна трудность: скифка должна в ярость прийти. Иначе у нее ничего не получится. А эта, которая нынешняя, сердиться совсем не желает. Наоборот. Говорят, смешлива очень.

Сам хихикнул.

— Они ее срамят словесно всяко, а она языка не понимает. Пробовали подол задирать, дабы оскорбить женское достоинство, но и тут неудача. Оказалась весьма склонна к тому, чтоб ей подол задирали, не возражает против такого грубого обхождения...

— Какие скифы, Андрей, — Даймон потрогал повязку, источавшую камфорный аромат. — Нет уже никаких скифов. Давно. Детство у меня прошло как раз в тех землях, где бегали когда-то эти, в острых шапках, про которых нагородил невесть чего Геродот. От скифов одни курганы остались. Ну, еще ржавое оружие и старое золото, за которым в могилы лазают те, кто перед покойниками стыда не имеет.

По другую сторону обожженных развалин Петры тоже утихомирился боевой пыл, стали снимать пояса, расстегивать ремешки панцирей. Герману это не очень понравилось, но шугать распустех он не стал. Вместо этого посекретничал с Баппоном, тот солидно кивнул, и вскоре из-за вала показался с десяток наименее уставших конников. На рысях двинулись к становищу персов, подскакав, брызнули стрелами и тотчас стали

поворачивать лошадей. Пока изнуренные персидские лучники, злобясь, хватали оружие, готовясь встретить наглецов ответным обстрелом, вукелларии успели отъехать на безопасное расстояние.

Герман хотел, чтобы персы встретили в его лице крайне неприятного противника. Который не давал бы покоя, теребил неотступно, злил, выматывал нервы.

Вукелларии стояли сторожко, кучкой, готовые снова подскочить и осыпать персов негустой, но больно жалящей тучей стрел. Из рядов персидских пехотинцев выехали с полсотни всадников, наверно, мелкая знать из сатрапий, полагавшая развлечь себя военной прогулкой. Кони свежи, доспех блистает, в сегодняшнем деле, сразу видно, не участвовали. Баппон рукой махнул, вукелларии неспешно стали отступать к своей позиции. Персидские вельможи следовали за ними, но, не проехав и стадии, остановились. Если двинутся дальше, то к ромеям помощь подоспеет раньше, чем сумеют пособить своим раздраженным вождям измученные и побитые персидские копейщики. Постояли, подумали, двинулись назад. Вукелларии немедленно последовали за ними, демонстративно позванивая тетивами.

— Я написал василевсу Юстину о твоем своеволье, — тяжело дыша, сообщил куриал с крашеной бородой. — Про угрозы твои написал. И уже послал верных людей морем в Константинополь. Знай это.

— Василевс разберется, — с холодной вежливостью ответил Герман и отвернулся. Куриал еще постоял, кашлянул, повернулся и пошел к своим, сварливо крича: «Такой-то и такой-то, сукины дети, трусы, вонючки персидские, если еще раз побежите, будете у меня недоимки платить за весь диоцез...»...

Герман приложил к бровям ладонь: видно было, что персы начинают сооружать лагерь: натиск с ходу успеха не принес. С их стороны на пригорок выскочил всадник, привстал на стременах, помахал шапкой. Потом стал медленно пятить коня, зазывно шапкой помахивая. Переговорщик. Герман сел на Скейдбримира.

Вот он, неуспешный командир побитого войска. Но выглядит самоуверенно.

— Меня зовут Задеспрам. Чин мой — ханаранг, я брат жены племянника царя Хозрова, — на вполне литературном греческом.

— Мое имя Герман. Парафилакс этой фруры.

На холме продувало прохладным ветерком.

— Вы меня порадовали. Казалось, мы просто разгоним толпу твоих едва вооруженных бабней и останется только скучать в этом окраинном и никому не нужном городишке.

— Спасибо за лестные слова, — Герман слегка наклонил голову.

— Похоже, ты прихватил с собой чьих-то весьма опытных в военном деле вукеллариев... Попробую угадать. Тиверия?

— Маврикия.

Перс уважительно покивал.

— Дело становится интересным, — признал он. — Но его исход сомнений не вызывает. Потрепали мы вас изрядно. А резервов у тебя нет. Не лукавь, не спорь, я знаю... У меня же в лагере томится и уже начинает от безделья осмеливаться на дерзости совершенно свежий... Как это называл ваш Эпаминонд? Священный отряд.

Герман пожал плечами, как бы говоря: ну, еще бы, по-другому и быть не могло. Со стороны городских стен обрывок ветра принес монотонную песню, с которой осажденные в ромейском лагере таскали камни, месили известь, тесали непросушенные бревна.

— Доблесть вы уже выказали, — речь Задеспрама стала неторопливой, будто он размышлял одновременно с тем, что говорил. — Теперь вам остается только погибнуть и тем самым отдать нам город. Или не погибнуть.

— Дело не в наших жизнях, — вежливо заметил Герман. — Дело в Петре. У меня другая логика. Поскольку город я вам не отдам, стало быть, мы погибнуть никак не можем. Ergo, никому из доблестных подданных царя Хозроя не придется уцелеть.

Перс фыркнул так, что Скейдбримир вздернул голову и нацелил на него удивленный глаз.

— Предпочтешь, чтобы именно я постарался тебя убить? — предупреждая взрыв сарказма, продолжил Герман. — А не бабенка какой-нибудь своим ржавым гладиусом времен Домициана в свалке ткнул благородного ханаранга? Ты же не отступишься от этого паршивого, окраинного и никому не нужного городишки... Как у вас его называют.

— Я бы ушел, — мирно ответил благородный ханаранг. — Соврал бы Хосрову что-нибудь про неожиданные трудности, подкупил бы магов, и те возвестили бы о предзнаменованиях, полностью оправдавших мое отступление. В конце концов, храброго противника должно уважать. Но самого себя стыдиться я никак не намерен. Уйти сейчас от Петры — вопиющий позор, ты это понимаешь. — Он поиграл золотыми цепочками и бляшками на уздечке. — А потому я не уйду. Значит, что? Значит, вы все поляжете тут. И это я окажу тебе честь, и собственной рукой...

— Честь, позор, уважение, — прервал его Герман. — Все это ненужные слова. Не важные. Единственно значимое слово сейчас: Понт. Хозрой желает во что бы то ни стало зацепиться за понтийское побережье. Овладеть хоть каким-нибудь портом, где сможет строить флот и пускать его вниз по Евксинскому Понту к Боспору. Вот что надо понимать. Вот что значит Петра.

Море, уютно облежавшее разоренный городок, как бирюзовое ожерелье, дышало мягким покоем. Чайки белыми комочками падали на бирюзу и отскакивали от нее, словно мячики. За морем вставала бледная синева, взбаламученная облачной мутовкой.

— *Desipere in loco*, — тихо ответил Задеспрам. — Для безумства следует выбирать подходящее время... Как говорил ваш Гораций. — С улыбкой поклонившись врагу, он пихнул коня пяткой, развернулся и галопом помчался к лагерю.

— И Эпаминонд — наш, и Гораций — наш. — Герман ласково наклонился к дрогнувшему уху Скейдбримира. — С таким-то гарнизоном разве устрасимся чужеземного приступа?

На следующий день противник не предпринимал даже беспокоящих действий. Опасаясь, что персы захотят частью силы просочиться лесом мимо холма и выйти, хоть небольшими силами, к Фасису, Герман вычесал горстку бойцов из своих и без того редких рядов и послал наблюдателей в основную рощу. Командир вукеллариев, узнав об этом решении, одобрительно взглянул на парафилакса. В самом деле, если Фасис окажется захвачен, тогда поддержки со стороны города ждать не придется, возьмут в два огня. И тогда хоть год героически стой тут у Петры, персы в окрестностях Фасиса примутся заготавливать, сушить и распиливать лес и, хоть позже, чем хотели, но построят флот.

Ночь прошла спокойно, а утром, несмотря на скверную погоду, в лагере персов произошло оживление. Первой на предполье вышла конница, затем стало выдвигаться длинное и узкое веретено пехоты. Сразу подняв воинственный гвалт, плотно сдвинув щиты и колебля лес копий своим скорым шагом, колонна двинулась вперед, причем держала прямо к середине между поджидавшими их участками обороны. Невозможно было предугадать, куда в конце концов веретено вильнет, на восточный склон крепостного холма или к морскому участку, но угадать надо было. Вражеская конница держалась впереди, забирая чуть правее. Развевались богатые плащи. Вот уже добрались до середины пути — а пехота все еще катила и катила из ворот лагеря.

Герман принял решение, кивнул Баппону. В глазах бывалого ветерана томилось сомнение, но он толкнул коня к своим воинам, и два десятка вукеллариев тылами, обходя руины северных стен, перешли к укреплению на побережье. Жребий был брошен, и от того, угадал ли парафилакс направление, в каком развернется и ударит персидская сила, зависели исход почти безнадежной военной затеи и жизни всех защитников пустой обезображенной Петры.

Персы, так и не сделав поворота, неуклонно поднимались прямо к обломкам города, и уже становилось ясно, что они на-

мерены сосредоточиться на вершине, в руинах, а оттуда двумя колоннами ринуться на обе стороны, во фланги и Герману, и Даймону. Задеспрам перехитрил Германа. Теперь нужно было удивить Задеспрама.

Надел шлем, туго подтянул ремешок. Не спеша забрался в седло. Выехал за пределы вала и рва, не оборачиваясь, сделал манящее движение ладонью. Озадаченные, но не смеющие протестовать стратиоты кучей двинулись за ним. Он все же обернулся: разномастное вооружение, обмотанные тряпками раны придавали его крошечной армии вовсе не жалкий, а, наоборот, воинственный вид.

Ах, если бы персидская конница склонялась не в их сторону, а к морю. Надо надеяться, Даймон с матросами тоже догадается, что сидеть за укреплением в ожидании такой людской массы только кажется менее опасным, и предпримет какое-нибудь неожиданное действие.

Стали видны лица персидских пехотинцев. Они поворачивали к подступающим злобные лица, по продолжали двигаться вперед. Конные, помедлив, устремились к нагло приближающемуся малочисленному отряду.

— Перережете колонну, — бросил Герман бранчливому фасиоту, в крашеной бороде которого проступили седые пряди, а сам, чуть подгоняя Скейдбримира, направился к неприятельской коннице. Дополнительные инструкции не требовались, нужна была просто свалка, неразбериха и, по возможности, хоть нотка паники среди персидских копейщиков, которых раздирала бы необходимость следовать приказу и идти прямо и очевидная нужда перестроиться под угрозой атакующего противника.

Его приближение к богато наряженным всадникам могло быть понято и, по видимому, воспринималось как желание затеять переговоры о сдаче. Впереди конных персов показался и красиво загарцевал на сером жеребце Задеспрам, видимо, решил лично диктовать унижительные условия.

Усмехнувшись, вытащил меч. Блеснуло метеоритное железо. Скейдбримир рванул, как только он умел почти с места ударить-

ся в бешеный галоп. Ах, если б хоть Баппон или Андрей догадались и присоветовали Даймону тоже выйти и ударить.

Персидская знать не сразу сообразила, что вместо осрамления жалкого супостата их ждет бой. Когда всей гурьбой повалили на единственного всадника, осмелившегося бросить вызов панцирным катафрактам, раздосадованного Задеспрама опередило его вельможное окружение, и поэтому первым Герман свалил какого-то великана, под волосатый кадык забранного в металлическую чешую. Второго. Третьего. Получил удар по шлему. Многожды прокованное и сурово закаленное небесное железо безжалостно кромсало вполне надежные против обычной стали панцири. Герман пробивался к ханарангу. А догоняющее своего командира воинство при виде его витиеватых бойцовских ухваток, в которых было больше от бездушных движений механической куклы, чем от данной опытом и изощренной азартом боя ловкости, завопило от восторга и со всех ног ломанулось к колонне вражеской пехоты. Один из позвонков нескончаемой персидской змеи остановился, копыта и щиты повернулись к нагрянувшей опасности. Сзади напирала. Спереди оборачивались, останавливались. И вдруг по персидской колонне пронесся тягостный вздох. Над рядами заколыхавшихся персидских копий поднималась пыль, это вукеллarii надумали-таки атаковать со стороны морской стены. Топот их тяжелых коней быстро приближался.

Вот и желанная неразбериха. Герман скорее высчитал, нежели почувствовал, как вражеское копьё сбивает с головы шлем. Махнуло копьё, непременно шлем должен слететь. Как заведенный механизм, скупой и выверенный в движениях, до дигита рассчитывал разворот плеча, до доли мгновения — скорость замаха, удар, нырок, отскок, ложный выпад, а вот еще один перс с криком боли и удивления опрокидывается на круп своего коня. Мелькал меч, размазывая свое зловещее сияние в пахнущем кровью воздухе. Скейдбримир тоже руководствовался мускульной математикой рывков и поворотов, то припадал на передние ноги, то,

сообразив, что хозяину сейчас безопаснее всего откинуться назад, вставал на дыбки.

Вукелларии пробили чересчур длинную и слишком узкую — «эпаминондову» — колонну и врезались в окруживших Германа озверевших вельмож.

Подробностей в хрониках не записывают, да и редко хронист оказывается участником событий. Если б летописатель, закончив переписывать неперенное *ab urbe condita*, принялся соваться всюду, где происходит что-нибудь интересное, то ему сразу же капнули бы яду, полоснули кинжалом, конское копыто ему грудь раздавило б, стрела выкрошила затылок, пущенный катапультой камень всю ученость напрочь вышиб.

Но и к вещам второстепенным, течениям подспудным приглядываться тоже увлекательно и небесполезно.

Мелкие трещинки рождались внутри кирпичей, мало-помалу ветшала известь, скрепляющая стены Константинополя, незаметно проседали в прошлое фундаменты церквей и дворцов, а город впитывал в себя бледные краски, столь же жидкие, как талая водица, которую корни гонят к почкам впереди весенних оживотворяющих соков.

Вот и под Петрой земля пахла скорым обещанием ярких цветов и пахучих трав. На небо же поднимать глаза было некогда, Скейдбримир стоял на месте и меланхолично махал хвостом, а Германа нигде не видно. С собой его, что ли, персы утащили? Наверяд ли. Задеспрам, как на чашки его весов упали равно увесистые вероятности — стойкого следования победному замыслу и случайной в суматохе гибели, — тут же сделал выбор. Перевесила опасность оставить войско вовсе без командования. Конь его, далеко выбрасывая изящные ноги, помчался к лагерю. За командиром увязались несколько столь же сообразительных суренов и даригбедумов, а прочую персидскую знать посекл Баппон с товарищами.

— Где? — Даймон заглядывает в ленивые конские глаза. Потом, бормоча невнятное, идет, обшаривая взглядом жухлую траву, вспять по предполагаемому следу.

Отправив тяжелораненых в Фасис, Баппон, молчаливо признанный старшим, перевел своих вукеллариев и почти всех матросов на холм, а фасиоты, которых после безумной атаки осталось не больше десятка, заняли место за приморской оградой. Даймон на коленях ползал по поляне недавнего побоища. Вот шлем с оторванным гребнем. Поднялся, погрозил кулаком персидскому лагерю. Тут явственно тихий стон донесся, непонятно с какой стороны. Бросился переворачивать мертвяков, нашелся один, который еще моргал. В руке сжимал Германов драгоценный меч. Расспрашивать бесполезно, пока разжимал пальцы, бедолага дышать перестал.

У Баппона свои заботы. Вроде бы опять победили, но разорительной ценой, а пехота-то персидская урону почти не понесла, нашелся б хладнокровный младший командир, тут бы и конец убогим победителям. Значит, надо договариваться с ханрангом, отдавать им эту чертову Петру, пусть Юстин Куропалат увидит корабли Хозроя у морских стен. Может, опамятуется, на своей шкуре расчувствует, как это — посылать горстку ромеев против целой армии.

Ночью ветер подул с моря, небо поштормовому почернело. На несколько минут даже прыснуло снежной крупой. Карательный у морской стенки задремал, и вдруг его пробудил толкнувший в сонное лицо теплый выдох. Испуганно распахнул глаза, перед ними качалась фыркающая губа верблюда. «Господи... Спаси, Господи!».

— Да приснится тебе разваристая каша, бдительный страж! — приласкал его голос трапезита.

Начинался дождь, небо корябали молнии. И ближе к утру небеса над персидским лагерем сперва сделались как бы кирпичными, а потом заиграли багровыми отсветами. Поднялись вой и клетот, а потом разлилась траурная тишина. Андрей давно поджидал подходящую погоду, а нынче ночью пробрался к складу досок и бревен.

— Есть такая жидкость, называется: родосский огонь, — хвастал он. — И вот гляжу, ветер с моря задувает, значит, ло-

шади персидские моего верблюда не учуют. А Зверь Апокалипсиса у меня плавать умеет! Побарахтались, значит, в волнах...

— Как же у тебя этот родосский огонь дождем не залило? — вставил невзрачный юноша-фасиот. Даймон, обычный Андреев собеседник, на сей раз отмалчивался. Сидел, наохлившись, веко дергалось.

Трапезит подвинул к себе котомку, порылся и вытащил пузырек непрозрачного стекла. Подбросил на ладони.

— А вот имеем средство, которое не только дождя не боится, но и само по себе загорается, если на него вода попадет, — самодовольно пояснил. — Вы спросите, разве бывают такие необыкновенные составы? Так вот вам такой: апирон. Тайное наследство древних эллинских мудрецов. От его негасимого огня и родосская смесь вспыхнула, а потом и вся персидская кораблестроительная затея дымом в небо улетела.

Настроение у всех пошатывалось, кто давил в себе идиотские смешки, кто принимался плакать, жалуясь на болючие раны. Вроде свалилась тяжесть небывалого испытания, которое, может, раз в жизни достается на долю обыкновенного человека, но еще не слишком верилось в исход, которым можно будет гордиться всю жизнь. Посматривали на угрюмые спины отступающих чертовых зурванитов и вонючих маздакитов, а ну как это восточное коварство.

Персам больше незачем было ломиться в Петру. И они ушли. Баппон, еще недавно озабоченный, как сговориться с неприятелем о размене этой проклятущей крепостцы на жизнь и свободу ее уцелевших защитников, стоял на пригорке и провожал торжествующим взглядом клочки персидского войска, понуро ползущие той же дорогой, что пришли, к тесным ущельям и ледяным бродам через горные речки, к Родополю и Сарапанису, и пропадавшие из виду отряд за отрядом, дай Бог, навсегда.

— Сам бы топодетом к вам нанялся, только скорее тащитесь, — громко напутствовал он. Снова получила шанс простоять

сколько-то времени незадачливая Petra Pia Iustiniana.

Из низинки на пригорок выкарабкался непонятный человек и побрел, спотыкаясь, к приморской стенке. Караульный его окликнул, но бедолага не слышал, все тащился, пошатываясь, один раз свалился, но встал и опять поплелся, хромая. Думали уже стрельнуть, но Даймон заорал не своим голосом: он!

Чуть не всей ратью перескочили через оградку. Герман был нем и невменяем, лицо серое, и пахло от него глубинной землей и прелью. Какие там расспросы, головой трясет и словно невидимых мелких мушек горстями в воздухе ловит. Сквозь сцепленные зубы выцеживает только одно:

— В-в.

Закутали овчинами, напоили горячим вином, в которое Андрей капнул очередного своего заветного снадобья.

Осмысленное выражение в тусклом взоре появилось, когда Даймон стал совать ему найденный меч. Скейдбримир виновато подошел и встал поодаль, смиренно переступал с копыта на копыто.

— Что здесь было?

Пришлось объяснять: вчера снова сумели от персов отбиться, а потом Андрей их лесные запасы пожег. Шторм вот еще был на море.

Ему на плечи будто кинуло зеленую мутную пену, Герман зябко поежился. Взглянул на обломки, в которые волнами превращены были оставленные без матросской заботы хеландии. Одного корабля вовсе не обнаруживалось, вокруг кормы и сломанной мачты второго острые гребни волн затеяли боевой танец, полосовали их со всех сторон лезвиями острых гребней. «Вот тебе и анабасис, — невесело сказал себе Герман. — Посмотрим, насколько прав я был, когда Маврикию выхвалял повседневную оборотливость Ксенофонта перед одноразовым тактическим прозрением Эпаминонда».

Решили возвращаться берегом на Трапезунд.

Д. М. Шурф

Бальзам для проигравших



В нём нет всеядности, присущей большинству участников арт-коммуны ОДЕКАЛ, стремления испробовать всё. Опыты актёрства, рисовательства или писания прозы редки и не типичны для нашего автора. В первую очередь он — поэт. Так же нечасто его участие в сеансах тотальной поэтизации, совместных стихотворениях. Под влиянием экспериментальной обстановки в дружеском кругу Шурф опробует на свой зуб различные экзотические блюда — заумь, конденсат, акцентированную метафорику, проч. Элементы поисков никогда не исчезают, затвердевания легкоузнаваемой манеры автор старается избегать. А предпосылки к тому есть, ибо среди одекалонов Шурфу присущи более других некоторые стилистические особенности. Повышенный интерес к абстрактным существительным, обозначающим понятийные категории, попытки строить имажи на них. Афористичность. Игра аллитераций. Пристрастие к определённым чётким ритмам. Неожиданно синкопированные мелодические рисунки. Три последних качества словесной фактуры прямо указывают на главную любовь поэта — музыку. Среди своих связанных с музыкой сотоварищей он считается меломаном. Знаю, что некоторые шурфовские стихи прямо пишутся на чьи-то полюбившиеся мелодии. Ещё он любит футбол, европейское кино, научную фантастику. Эти внепоэтические интересы тоже своеобразно преломляются в его сложном поэтическом мире, давая пищу лирическим образам. А ещё Шурф любит близких ему людей. Лучшего друга в качестве надёжного товарища пожелать не могу.

Сергей Сигерсон

плохо врасплох
всполохи
похотливого неба
один вздох
душу теребит
надломлен ключ
лезвию парой
терплю сплю
в горле огарок
гордости

опыт
без фаты
кто ты
репетитор
фото
за труды
кто там
яму вырыл

безвоздушное пространство
территория души
расширяется негласно
поглощая свет вершин
убедительно далёких
от метафор под уклон
начинаются поклёвки
безвоздушная весомость

между тем
где-то там
жмусь к мечте
без зонта
благо в тон
нотный тик

на обгон
напрямик
до черты
где контакт
для мечты
время враг

ура
ору
мой круг
квадрат
двора
в жару
замру
пора

солнце в этот раз
закатилось в лес
будто напоказ
выбрав ирокез
задирая нос
под раскаты бис
солнце без волос
в этот раз сюрприз
закатилось всё

после себя
мысли в порядке
держит сквозняк
не отпускает
гостя дождя
без подзарядки
мысли дразня
их же кусками

гении злы
знает зола
общий расклад
в месте разрыва

тучи на развес
вестники по списку
опустились низко
осени диверсия

радуга
на боку
вклад в строку
облака
абы как
по кивку
чем влеку
угадай

утеплился впрок
чувствую свободу
выйдя за порог
ничего подобного
не предполагал
по причине близости
плохо лёг загар
тяжело нести

костюм не по размеру
особенно карман
скачу как угорелый
с дивана на диван
внимание нирвана
возможна на дому
размер не по карману
костюм не по уму

экстраверт не без выверта
углублюсь в психологию
собирая цветы
что у дороги
меланхолично растут
крайне неприхотливы
чувствуя за версту
прерогативу
вязнет в траве интроверт

движутся движутся
стало быть множатся
красные книжицы
красные рожицы
кружатся слаженно
строго по компасу
кажется кажется
будет о чём писать

заклинило канву
считаю недостойной
внимания живу
смотря не только в корень
надуманных проблем
со множеством нюансов
канва попала в плен
критическая масса

стринги с якорями
в пару к бескозырке
кто кого упрямей
видно по затылку
весь модельный ряд
требовал тельняшки
люди говорят
регулярно пляшут
на чужих столах
при любом раскладе
стринги в зеркалах
якоря в засаде

гаснет слеза
в землю впитавшись
этот бальзам
для проигравших
знаю на вкус
пить избегаю
в обществе муз
вянет органика

весна родилась летом
а стало быть зимой
зовётся милый мой
сосуд для комплиментов

механическое вскоре
я отправлюсь восвоюси
думать думу на просторе
о просторе полном страсти
платонического толка
аккуратная небрежность
мыслей жёсткая прополка
оставляет без надежды

онемел как буква
в узах алфавита
мы с тобою квиты
речевой кондуктор

энергетически раскис
себе подыскиваю ракурс
не реагируя на бис
категоричность дули с маком
для смака выглядит смешной
неподготовленная встреча
сопровождается волной
сверхзвуковых противоречий
что с головою на плечах
не сочетаются по сути
энергетически заचाх
себе подыскиваю пуфик

некуда спешить
дальновидный принцип
берегись провинция
собственных вершин

старший по существу
страшная величина
гонит листву
прямо на нас
собственный монолог
перечеркнув
страшного много
старший в конвульсиях

пустяки
с рюкзаком
мир строки
мне знаком
по тоске
по тискам
сложных схем
для песка
просто нет
тру виски
без примет
пустяки

глупости постиг
честность напоследок
удержав в горсти
ровная беседа
через не могу
завела в ловушку
музы берегу
не жалея пушки

вычисления не счесть
час от часу больше чести
нахожу сегодня здесь
игнорируя последствия
сопоставленных задач
непечатные условия
актуальны не иначе
час от часу больше стоят

один визит
двойное дно
поэт вблизи
совсем не он

праздное ассорти
с энтузиазмом
встречен сатир
в мире соблазнов
высшее существо
занято стилем
снова и снова
праздная лирика

догонял огонь
старого коня
торопясь обнять
никакой иронии
в образе огня
не предполагается
догонял до глянца
старого меня

призову
не возвращаясь
нужный звук
пожав плечами
уклонюсь
от выражений
звук в меню
во мне брожение

я весь горю
пора на юг
отправить юнг
меня в аллюр
пока без брюк
благодарю
свою зарю
ноздря в ноздрю

усердно дно
в касании предметов
едва заметных
что немудрено
поскольку вновь
окажутся бесцветными
мотивы лет моих
последнее звено
разорвано

сбросил вес
забыв про вас
в голове
раздался глас
по глазам
пройдясь метлой
сбросил сам
вживаясь в роль
что мне вес
когда есть вы
в голове
вне головы

слаб
пространству невдомёк
мгла
романтики пенёк

ради искусства
следуя курсу
ты промахнулся смотри
поэт во всём крайний
он лишь собой занят
остры его грани
малы его сани

ему всегда рано
ему всегда поздно
его не ждут в храмах
ему не шлют звёзды

слишком серьёзный
вплоть до курьёза
созданный образ знаком
его нельзя трогать
его нельзя править
ему смешны боги
ему смешна зависть
он изнутри сочен
ему близка смута
на нём печать ночи
отражена утром

смысл незатейлив
время приземисто
чахнет пропеллером
ритм

расклешённые вершины
не причина гнать коней
все проблемы разрешимы
если мы наедине
остаёмся подпружинив
темпераментом задор
всё внимание на ширме
обалдело либидо

слишком научным
выглядел случай
чувствую участь
круче попутчика
чудятся тучи
чёрствы брючины
небом колючим
вновь перекручены
чары непрочны
чаянья ночи

в качестве строчек
зреют разборчиво

странно верны
ваши сравнения
стоят луны
если мигрени нет

между мною и стеной
умещается эпоха
что-то в горле пересохло
взгляд наполнился слюной
зной не блещет новизной
с головою накрывая
намечается авария
между мною и стеной

взнуздан обузой
зуд дезинфектор
падает в лузу
фактом эффективным
заново узнан
прозой задиристой
бланила муза
но соблазняла сталь

переключи внимание на ев
наев брюшко адам непродуктивен
кому-то он покажется ретивым
однако ревность больше не резерв
для ев

резерв для ев
видение в тумане
не заарканить
даже захотев
напрасен гнев
потусторонних знаний
фантом нас манит
странно постройнев

пространно постройнев
травмировал соперника
нарисовалась герника
немного в стороне
корона для корней
реально бесполезна
куда б она ни влезла
фекалии верней

всего верней
эмоции в труде
детали дев
весьма традиционны
адам теней
не признаёт для ев
тумана гнев
был снят с аукциона

скворцы степные постепенно
свой изменяют макияж
найдя себе другую сцену
напоминающую пляж
разгорячёнными телами
на фоне пляшущих огней
скворцы не выглядят орлами
хотя бы тем что веселее

если покраснел
значит с нами вместе
слушал эти песни
сдерживая смех
не в своём уме

так в уме соседа
будто напоследок
покраснев вдвойне

отзвучали музы
как ни назови
ты свою обузу
будешь слушать визг
по канонам жанра
бьющий точно в мозг
хороша пижама
музы краше нос

апельсины как сны
непредвиденный ракурс
оставляю квасным
патриотам на радость
для затравки контраст
наяву редька с хреном
попадают в романс
очевидным рефреном
патриотам на чай

на вилах ливень принесён
заочно выгляжу умытым
в финальном раунде боксёр
вдруг осознал всю прелесть быта
его размеренную прыть
земле придётся долго сохнуть
под наблюдением жары
всё экстремальней суматоха

ныне тихо благодать
только крыша протекает
что сказал не передать
ситуация такая
повторяется забудь
встрепенувшееся лихо
влажновата ваша суть
благодать крышует прихоть

утро по тропе весело бежало
тормоша траву без конкретной цели
ясно что его не брала усталость
сохраняя фон для своих истерик
я его встречал оставаясь крайним
как ни посмотри чем ни озадачься
всё равно бежит утро на экране
следовать за ним чересчур заманчиво

расфуфырен камуфляж
всесезонный лежебока
акцентируя вальяжность
не всегда черта порока
подключается мираж
к актуальному искусству
проступая там где пусто
либо там где всё приглажено

Борис Эренбург

Батюшков



*«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».*
Осип Мандельштам

*Более половины своей жизни Батюш-
ков провел в тихом и буйном помеша-
тельстве.*

Из биографии

21 января 1833 г.

Болезнь мою признали неизлечимой и везут меня в Вологду, на родину предков.

Я перенес то, что не многие перенести могут; меня заплевали; я весь разбит; я был в сильной горячке, был почти полоумный, из меня делали сумасшедшаго; я несколь-

ко раз хотел зарезаться, какой-то Плетаев пишет от моего имени в журналах. Скорее запрягайте, други, колесница моя уже поднимается в небо: «Dahin, dahin, dort ist mein Vaterland!». Да, я был совсем идиотом, лечился в Швейцарии, жил четыре года в Зоннерштайне у профессора Шнейдера, но это давно сгинуло в прошлом... Немцы признали меня сумасшедшим и отправили обратно к своим, Россию. Помнишь ли: туда, где мирный луг и первые подвалы, где игры детских лет, невинны мадригалы... О, родина, где можно попросить кусок черного хлеба у каждого солдата, и он даст! Родина презирает мой бедный талант, но какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подозрительной по казенной надобности!

Надцатого марта 1839 г.

Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота?

Самое главное: я открыл формулу времени и жизни вечной. Что такое часы? Ловушка. Достаточно только поверить, что есть время, и в тебе начинают стучать часы. Каждый, кто спросит «Который час?» — умрет. Вечность, одна вечность спасает от времени. Никто этого не знает, один я. Я спрятал формулу в стихах, зашифровал словесными ключами:

*Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!...*

Это первая часть формулы, вторую пока не пишу, ибо преследуем врагами. Выбитый по щекам, замученный и проклятый вместе с Мартыном Лютером на машине Зоннштейна безумным Нессельродом, имею одно утешение в Боге и дружбе таких людей, как Жуковский. Надеюсь, что Нессельрод будет наказан, как убийца. Я ему никогда не прощу, ни я, ни Бог правосудный, ни люди добрые и честные.

Кругом шпионы, даже друзья Гнедич, Вяземский, Карамзин записывают за мной слова и отсылают куда-то, думаю, Нессельроду. О, Нессельрод, это голова! Он даже более голова, чем доктор Мюльгаузен в Симферополе. Нессельрод — это канцлер, главный враг мой. Он карлик, поэтому жена Нессельрода носит его в кармане.

14 мая 1854 г.

Племянник Модест говорит, что началась война. Наши разбиты на Альме, Севастополь осажден. Англичанка гадит. У француза отшибло память.

Велел принести карты, инспектирую укрепления города, черчу рекогносцировки. Я знаю войну, я стоял под пулями у Теплица. Но что я могу? Од не писал отродясь и не буду, оставим графу Хвостову. Приличную оду мог бы написать маленький Пушкин, а историю описать Карамзин. Но их нет, ушел Гнедич, нет Жуковского, остался я, один за всех. Часы, проклятые часы! Друзья были неосторожны и погибли. Они проводили меня в Италию и умерли сто лет назад.

Но я-то жив! Написал давеча прелестное стихотворение к портрету Буксведена-Шведского:

*Премудро создан я, могу на свет
сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.*

В этом стихе заключена вторая часть формулы. Но есть и третья! Молчание, молчание... Неприятель не дремлет. Карлик Нессельрод — австрийский шпион и подставил государя. Россия опять одинока, окружена врагами и терпит поражение. Одна надежда, что Пальмерстон совершит роковую ошибку и спросит француза «Который час?». Я узнавал, у него есть часы на золотой цепочке в жилетном кармане.

Никоторого дня в сентябре 1887 г.

Умер государь-император огромного роста и размеру. Когда он проезжал по Петербургу, весь город снимал шапки, и я тоже. Он говорил, что у России нет друзей и союзников, есть только армия и флот. И он прав, тысячу раз прав! Родина одинока, я одинок, и нас обоих преследуют завистью. Племянник сказал, что царь много пил русского вина, ибо не любил французского и умер от нефриту не дожив до пятидесяти, не успев свершить великих дел своих.

Конечно, императора погубило не плохое вино, а часы, зеркала и время... Впрочем, я всегда пью только лучшее француз-

ское из Петербурга. Племянник выписывает ящичками. Время губит, но почки надо беречь.

Однако все, что делают за границей, кроме вина, — дурно. Вот луну, например, делают в Гамбурге, и прескверно делают: светит гораздо хуже русского солнца. А лучше всего в России делают стихи. Даже мне, хотя я давно оставил поприще поэта, иногда удается зарифмовать несколько строк:

*Царицы, царствуйте, и ты,
императрица!
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде
царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А Кесарь мой — святой косарь.*

Это третья часть формулы, скажу вам в тайне. Спрятана в стихах, зашифрована тонко, сразу не поймешь.

У меня только один Кесарь — святой косарь. Время — это смерть с косой, а смерть — это время. Никогда не злите Кесаря, не спрашивайте: «который час».

Фибромарт 17 г.

Принесли газеты. В Отечестве революция. Правит кто-то маленький, лысый. Это позор, срам для державы, мог бы и париком прикрыться. Наверняка Нессельрод прячется за ним; два карлика захватили власть и доберутся до меня. Теперь у нас Революция будто во Франции, стало быть, впереди гильотины, робеспьеры и много много голов, отделенных от тел своих. Затем настанет Наполеон. А раз Наполеон, значит, будет война с германцами. Конечно, мы победим пруссаков и, яко французы, завоюем пол-Европы. Императора остановила Россия, но кто удержит нашего Наполеона? Никто, никто... А я, какова же судьба моя? Революционеры убили Шенье, негодяи уморили Тасса, санкюлоты придут за мной, надо написать на прощанье элегию.

Сегодня на лошадях прискакали люди с саблями, на них были остроконечные шап-

ки со звездами во лбу. Явно это масоны. Они забрали у племянника молоко, хлеб и нашу козу.

Племянник их боится, он заставил меня снять халат и надеть штаны. Масонам будто бы нельзя видеть дворянский халат. К чему этот маскарад? Жалкие, ничтожные люди, они не знают, кем я был до революции. По-езжайте в Царское Село и спросите, кем был Батюшков до революции? Любая собака в Царском знает: Батюшков был поэтом и служил по министерству иностранных дел.

Эти масоны допустили роковую ошибку, они спросили у меня про время.

— Вечность! вечность! — закричал я им и снял штаны. Бедняги уехали. Они обречены и скоро умрут.

Ноябрь 37 г.

Написал государю прошение о пострижении меня в монахи. Хочу в Соловецкий монастырь или на Белоозеро. Ответа нет, нет монаршего повеления.

Племянник поведал, что на Соловки везут нынче без прошений и уже нет мест. Как это нет мест на Соловках для поэта? Я воевал, бился с французами, был ранен, у меня есть заслуги перед Отечеством. К тому же я писал стихи, безделки, но их ценили, за механизм стихотворный, за язык, за чувства, наконец. Молчание, молчание... Это он, Нессельрод, злобный карлик, это его происки. Карликовое превосходительство спряталось за спину государя и напоминает мне ошибки по службе, плохо заточенные перья, кляксу на докладе Иловайского.

А ведь я хочу в монахи, хочу окончить жизнь в тихих молитвах. В России всюду нужны связи. Чтобы постричься, нужна протекция. А у меня нет связей при дворе, одни враги. И где теперь Вяземский, Тургенев, Гнедич, где вы, верные друзья? Пусто в пенатах.

Достал тихонько портрет Наполеона, подаренный мне Жуковским, и помолился. Да царствует он снова во Франции, Испании и Португалии, неразделимой и вечной им-

перии Французской, его обожающей и его почтенное семейство! Да будет он победитель пером, яко братия его, великие цари Бурбоны! Да будет меч его победитель над варварством, ограда христианских народов, утешение человечества!

Наполеон на портрете странный, весь в усах и штаны гусарские.

Сын племянника принес письмо «Батюшкову, поэту». Зачитал. Приглашают в некий Союз писателей. Это нечто славянофильское вроде московского общества губителей словесности, помню такое. Но мне за чем? Я уже состою в Казанском обществе рубителей слова, имею быть членом оногo. Не желаю в Союз, хочу в монастырь.

Месяц августул, без года

Лорду Байрону.

Прошу вас, милорд, прислать мне учителя английского языка, когда я буду обитать снова в Москве, в сем доме. Желаю читать ваши сочинения в подлиннике. Молитесь невесте моей. Константин Батюшков.

Адрес: Лорду Байрону, в Англию.

Примечание: Письмо притворное. Через учителя имею намерение сообщить лорду формулу.

Декабря последнего дня, год 39

Когда я сидел у окна и писал пейзажи с лошадьeю, пришел юноша. Стал читать стихи «Словно гуляка с волшебною тростью, Батюшков нежный со мною живет». Я сразу понял: это Плетаев, за хвалами спрятано поругание. Что писать обо мне и что говорить о стихах моих?... Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!.. Я болен, болен и принимаю ванны.

А все-таки Плетаев ныне пишет гораздо лучше: «только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык!» Механизм

стихов приятен, и картины выходят свежие. Может, это и не Плетаев.

Еще заглянул один писатель в круглых очочках, похож на доктора, глядел на меня с любопытством. Пишет, говорит, одесские рассказы. Какие могут быть рассказы в Одессе? Пыльный город, везде греки и французы, один русский, да и тот Раевский. «Ах, Батюшков, — сказал этот пишущий доктор, — вы еще не арестованы, как вам не стыдно?» И засмеялся.

Он хотел вывести меня из себя, поговорить о гонениях, но я притаился, я затих и заманил его в ловушку времени.

— Не пора ли вам уйти, милостивый государь? — произнес я с достоинством.

— А который час? — спросил этот человек. — Который час?

— Вечность! — ответил я ему. Он погиб, определенно погиб, бесповоротно и навсегда. И я, я повинен в этом.

78 некоторого месяца

Я нездоров и слышу голоса. Маленькая черная тарелочка говорит человеческим голосом. Оказывается, окончилась война с германцами и правит кто-то маленький, лысый, снова без парика. Позор, позор, заговор. Из всеобщих идей, говорят, сейчас кукуруза. Почему кукуруза, зачем она?

Где Александр Павлович, куда царя дели? Государь-душитель хоть и бегал за мной с веревкой, а росту был статного и вид имел суровый. Внук племянника говорит: у нас каждая кухарка может управлять государством. Как это управлять, коли не учились этому? Царевичей на царей учат с детства, вот она — польза образования. Вокруг меня сумасшедшие, мне страшно, я три дня не выходил из комнаты. Один Батюшков сохранил искру разума, меня надо беречь. Нессельрод хочет свести всех с ума и повязать веревками.

Сижу, повторяю: время мера мира, время мера мира. Очертил круг вокруг себя. Надо бы перечитать басню «Ворона и лисица» да занять деньги у Ивана Андреича Крылова.

Он знает — я отдам. И он единственный, кто не спрашивал меня про время.

Главное, убрать из каждого дома зеркала, свечки и часы.

34 апреля эра благоденствия

Приезжал незнакомый стихотворец с гитарой, очень понравился. Напомнил Анакреонта-Давыдова: голос настоящий гусарский с бархатной хрипотцой. Разговор гостя умный, взгляд быстрый, огненный. Бывал в Париже и в Неаполе, жена француженка из дворян. Мой новый приятель откинулся в креслах, спел прелестную песню своего сочинения: «Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее». Я тоже вспомнил веселье в Царском и напел свою «Вакханку». Выпили штоф и облобызались.

*183 год от рождества богородицы моей
Екатерины Карамзиной*

Внучатый племянник сказал, что на площади поставлен памятник к двухсотлетию Батюшкова. Ходил ночью, смотрел: стоит бронзовая лошадь, сбоку девка и молодой истукан рядом. Кто из них я? Я столько же не похож на истукана, как лошадь на моего Рыжака. А кто тогда девка? Никогда в походах и на бивуаках не возил за собой блядей в отличие от многих, ведь я не фельдмаршал. Поднялся слева по ступенькам и уткнулся в зад животному. Тьфу! В городе называют это «Памятник лошади», правильно называют. Недавно украли уздечку и железную доску с надписью «Батюшкову от благодарных потомков». Воруют как прежде, вот беда. Да хоть бы совсем растащили. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и образы наши в потомстве загадочны.

Страной опять правит кто-то маленький лысый с пятном на темени. Начинаю привыкать.

Площадь империи уменьшилась, но стихов, говорят, стало больше. «Ниоткуда с любовью, надцатого марта, дорогой, уважа-

емый, милая, но не важно», — дочка внучки прочитала мне эти стихи новых поэтов.

Язык странный, черт ногу сломит, похож на Шишкова и Шаховского вместе взятых, но есть что-то знакомое. «Надцатого марта!» — из меня, из дневника моего. Девочка сообщила, что я — учитель всей русской словесности, так ее научили в школе.

*Вологда, год 2016
от Рождества Христова*

Время провожу в великой скуке, страдаю непрерывно от насморка. Здесь дожди беспрестанные. Однако, невзирая на сию атмосферу, требуйте от Модеста, чтоб он любил свою родину Тулу, яко истый Грек, и вспоминал с благодарностью вечную трапезу под тению домовых смоковниц и олив. Просите вашу маменьку прислать мне духов, и деньги на покупку можете занять на мое имя у Ивана Андреича Крылова. Он знает, как я честно плачу то, что беру взаймы. Прошу Елисавету Петровну не показывать моих новых стихов «Подражание Горацию» Александру Петровичу Брянчанинову, ибо он презирает мой бедный талант, обитая, яко Аполлон, посреди столь великих стихотворцев в граде святого Петра.

Новости ужасны. Россия опять одна, без друзей и окружена врагами. Начинаю привыкать.

Знаю, виною всему недруг мой Нессельрод, злобный канцлер, иностранный агент. Враги изобрели говорящие трубы, якобы для передачи речи на расстоянии. На самом деле эти машинки шпионят за мной, хотят выведать формулу, передать канцлеру. Выбросил трубу, подаренную племянником, в печку, прямо к Нессельроду, пусть подавится.

Я устал. Боже, как я устал погибать ежедневно на этой каторге. Лучше уйти раз и навсегда. По сему поводу написал завещание:

«Прикажите похоронить мое тело не под горою, но на горе. Заклинаю воинов, всех христиан и добрых людей не оскорблять моей могилы.

Желаю, чтобы родственники мои заплатили служанке, ходившей за мною во время болезни, три тысячи рублей; коляску отдать в пользу бедных колонистов, если есть такие; заплатить за меня по счетам хозяину около трех тысяч рублей; вещи, после меня оставшиеся, отдать родственникам, белье и платье сжечь или нищим;

крепостного человека Павла, принадлежавшего К. Ф. Муравьевой, отправить к ней».

Запечатал конверт, отдал племяннику, трижды с чувством спросил его:

— Который час?

— Да ведь я не глухой, дядя Константин Николаевич, — обиженно ответил племянник.

И более ничего не произошло.

Нина Горланова

Папа и старый князь Болконский



С тех пор, как я себя помню, основное мы знали: папа из детского дома. Его мама умерла, когда ему исполнилось два или чуть более. И отец отвел его к крестному, а тот сдал в детдом. Почему родного сына к крестному, почему тот предательски так поступил? Нам подробностей не рассказывали. Отводили глаза и отмалчивались.

Можно было то шероховатое время «за хвост ловить», как писал Мандельштам, — соотносить год рождения папы и годы коллективизации... но не соотносили. Ведь в школе нас зомбировали: коллективизация — это прогресс, а кулаки ужасны... а не могли же мои бабушка и дедушка быть ужасны? Нет, не могли! Нам это не нужно...

Когда папе исполнилось четыре, его усыновили другие люди, он звал их «мама»-«папа», но продолжал тосковать по родным, особенно — по старшей сестре Рае. Всю жизнь — до восьмидесяти лет — он искал ее, ездил и писал, даже послал запрос в телепрограмму «Жди меня»...

Стресс от детдома оказался так велик, что папа всю жизнь страдал сильнейшим псориазом — все время был в раздражении, смотрел на нас — детей — с брезгливостью. И был суров, так суров! Никогда не улыбался. Я боялась его смертельно!

Даже нам до школы не говорили, что можно верить в Деда Мороза, который иногда приносит подарки! А в школе уже верить было тоже нельзя — засмеют...

Однажды раньше придя с работы, он застал с сигаретами компанию подруг и выпорол меня так, что я неделю не могла сесть за парту! (Но курить я бросила только в 2007 году — после инсульта. Без курения я бы не прожила свою тяжелую жизнь в коммуналке с остолбенительным соседом-алкоголиком — я повесилась бы.)

Когда я училась в девятом, папа сжег мой дневник, прочтя там такую фразу: «В кино не пошли — нет долларов». Он думал, что нас арестуют и посадят в лагерь за эти «доллары». А мы никогда в жизни их не видели — это был такой глуповатый юмор того времени.

Я порой бессонными ночами мечтала об инопланетянах, которые бы могли прилететь и взять папу для исследований на свою родину...

Я писала в новом дневнике, который хранила у подруг:

«Старый князь Болконский мучил свою дочь — княжну Марью, да, но в конце сказал:

— Душенька! Все мысли о тебе!

Может, и папа в конце концов скажет что-то ласковое?!»

Я училась на отлично, учительница в первом классе звала меня только «Ленин». С восьми лет я косила, с двенадцати доила корову. Воду нужно было принести на коромысле, дрова распилить и нарубить, картошку посадить и окучить... Но меня никогда ни за что ни разу не похвалили.

Всю жажду любви, по которой дико тосковалось, передать тогда я не умела, конечно. Но в том же дневнике, который сохранился, была анкета — одна из модных тогда анкет (любимый цвет, любимый герой и тп). Так вот там любимого героя — нет. Так и написано: нет. А героини любимые — даже две: Татьяна Ларина и Наташа Ростова... И не могло быть любимого героя. Боялась я всех мужчин на свете!

Однажды я услышала, как соседка моих лет крикнула отцу в раскрытое окно:

— Я купальник забыла! Кинь мне!

В каких рыданиях я забилась! В каких судорогах! Убежала за сарай и лила слезы, чтоб никто не видел. Чтoб отец мог мне найти и кинуть в окно купальник! Боже мой, какой купальник! Я бы тут услышала такое!.. Правда, не мат... Чтoб он кого-то отненормативил — этого не было... Даже потом, будучи замдиректора большого завода, папа не позволял себе этого...

Приемные родители папы — мои бабушка и дедушка — были уже не молоды, когда его взяли. И были они неграмотными. Но какая-то врожденная интеллигентность витала в двух добрых этих крестьянских душах. Дед Сергей Дмитриевич никогда не матерился, его сравнения были даже изысканны. Если в праздник мамочка наливала ему рюмочку, он говорил:

— Ты у нас персик! (Думаю: персиков он не видел никогда — как мы тогда не видели долларов.)

В Первую мировую он — в обозе — закупал провизию для фронта в местных селах.

Говорил браво:

— Я везде был, везде: в Осе был, в Орде был... (это Пермский край).

Бабушке Анне Денисовне я буквально обязана жизнью — именно она нашла меня в поле ржи (высотой с двух меня), когда я в три года из детсада сбежала, и колхоз сутки не работал — искал...

Уже лет в восемьдесят она захотела читать, и я ее быстро научила. У нее были волшебные способности. Вообще это была редкая душа, никогда никому ни за что не сделала она ни единого замечания! Редко-редко, если что-то очень не нравилось, она шмыгала носом. И все. Другими словами, Платон Каратаев в юбке. Звала меня: «Боговая».

— Да что ты, Боговая! Не мой посуды, я вымою. Ты еще намоешься ее — ох, намаешься!

Бабушка рассказывала, что в селе мальчишки дразнили папу в первое время, и тогда она придумала способ защитить его — говорила:

— Смотрите: он у меня казенный! Если обидите, вас в тюрьму!
И дразнить перестали.

В конце жизни папа написал воспоминания, которые сохранились. И я узнала, что в деревне ему многое нравилось — он любил дружить, учиться, пахать, обожал лошадей — летом с радостью ездил в ночное, писал стихи, учился играть на гармонии (есть такая фотография).

Но при этом он все время тосковал по родному отцу, по сестре. Рассказывал маме в сотый раз, какое было под окнами озеро, лебеди... говорят, что все, кто из детдома, сочиняют легенды подобные... где тут правда, где вымысел...

Понятно, что я хотела быть похожей на маму, которая являлась полной противоположностью папе. Она всю себя отдавала миру, друзьям, нам. Когда бабушку парализовало, она спала с нею, отогревая своим телом. И бабушка встала! Как ни в чем ни бывало!

Папа, уходя на партсобрание, закрывал нас на ключ, потому что мама могла уйти к подругам, а те много чего про него имеют рассказать... Но к нам стучали, и мама с треском распахивала заклеенное на зиму окно и выскакивала помочь соседке, рожавшей дома, потому что «скорая» застряла на занесенной метелью дороге.

Помню, что эпидемия чтения вспыхивала внезапно — как говорится в таких случаях: ничего не предвещало. Женских романов тогда не было, читали «Воскресение» Толстого, «Анну Каренину». И мама, когда к ней попадал — по очереди — роман, не заснув, рыдала и сморкаясь под умывальником, а утром уходила на работу с красными глазами и просветленной улыбкой...

Это все было уже в поселке Сарс — куда родители сбежали от деревенского голода. В деревне нам с братом давали в день одно яйцо на двоих, а в поселке уже варили мясные супы — родители хорошо зарабатывали на лесозаготовках. Папа был бригадиром, а голос такой, что если прикрикнет — у женщин молоко присыхало сразу! (Тогда в декретах не сидели — не оплачивалось, советский режим был садистским.)

Может быть, фамилия Горланов дана ему в детдоме, потому что голос был громче других...

Кстати, у папы тоже были друзья. В поселок мы приехали к ним — Штейниковым, которые ранее сбежали из колхоза. У них была одна комната, в ней жило пятеро, туда же поселились и мы шестером. Железный мир имел уютные уголки, где гнездились счастье дружбы. В Бога верить запрещали, но дружить не запрещали...

Я после седьмого класса пыталась уехать из дома — поступала в автодорожный техникум в Свердловске. Но не поступила. Как сказала потом Наташа Иванова на презентации моего романа в «Знамени»:

— Нине не повезло — ее не приняли в техникум, пришлось стать писательницей.

Перед выпускным классом я все же не выдержала атмосферы раздражения в доме — бросила школу и уехала работать в Крым (там были знакомые — дочери тех самых Штейниковых). Но я плохо списалась, они как раз уже уехали, и я вернулась в семью, чтоб еще год доучиваться — получить аттестат и поступить в университет.

Там я прочла «Мастера и Маргариту», увидела и фотографию Булгакова! А мой отец оказался копией М. А.! Только папа никогда не улыбался, а Михаил Афанасьевич улыбался своей как бы нечаянной улыбкой. Я задумалась на миг: может, папина семья была дворянской? И их разорили? И было озеро? И лебеди! Вон какие ногти от него нам передались: длинные и узкие! Я задавала дома вопросы, но снова не отвечали на них мои родные — отводили глаза и отмалчивались.

На четвертом курсе у меня случилась большая любовь, но избранника звали — как папу — Витя. Это по определению не могло закончиться счастьем. И мы поссорились.

Я вообще боялась мужчин, они для меня были словно воздушные шары — без внешности, без пола, худо-бедно — с умом и с юмором. Я училась с Юзефовичем, Королевым, дружила с Кондаковым — ценила в них интеллект, очень ценила. А более ничего. Я дружила со многими умными мужчинами, как с девочками: с Игорем Ивакиным, редактором нашей многотиражки, с Леонидом Владимировичем Сахарным (потом — руководителем моей диссертации)... В рукодельях искусная дева, я вязала всем юношам по модному свитеру или шарфу, надеясь увидеть их понятными и родными в моих свитерах-шарфах, но никто не становился ближе и нужнее...

Будущего мужа, юношу — моложе меня на четыре года — я не воспринимала как угрозу, поэтому не заметила, как к нему привязалась и вышла замуж.

Моим подругам тогда папы-профессора построили кооперативы, а я мучилась в коммуналке. Да, мог и мой отец — получая по 425 рублей месяц — построить... но я даже не мечтала — хорошо знала, что этого не будет никогда. Потом эти накопленные им большие суммы сгорели от инфляции в 1992 году.

А ведь нельзя сказать, что папа не знал о существовании в мире родительской помощи. Однажды мне встретилась его коллега:

— Все знаю: папа твой рассказывает, как много помогает твоей семье! Ты взяла приемную дочку, а он ведь сам — приемыш...

Я долго стояла в предрыданиях — сумела удержаться и промолчать.

И однажды грянула беда. Муж мне изменил, и я (выпив и не помню) ударила его за это 50-литровой бутылкой по голове. Это было в доме моих родителей. Он потерял сознание — я очнулась от причитаний жены брата:

— Нина, ты ж яго убила!

Брат держал в руках трубку:

— «Скорую» или милицию?

А папа в это время... бегал по комнате с раскрытым партбилетом, поднося его к каждому! Он лишился дара речи, но так боялся, что его исключат, что вел себя именно так...

Слава открыл глаза, и папу не исключили. Где сокровище ваше — там и сердце ваше...

Я тогда подумала: папа-папа, ты чудом спасся от жестокой судьбы — выкидыш советской власти! Она лишила тебя родителей, а ты за партбилет схватился!

— Как это случилось, что папа стал коммунистом? На каком этапе пути это произошло? — вопрошала я много раз.

Лишь потом я поняла: никакого пути нет, а есть ежесекундный выбор человека...

И тут грянула перестройка. Только тогда нам все и рассказали: семью папы раскулачили, мама его умерла сразу от разрыва сердца, и отец отдал крошку-сына крестному, чтоб не везти на погибель в ссылку, на север... Почему крестный не мог оставить его у себя? Видимо, это было очень опасно!

Я написала уже серию картин на эту тему, где всех выгнали из дома, плачет сестра Рая, гроб, в нем моя бабушка, а в небесах она уже в виде ангела касается крылом папы-мальчика, обещая ему спасение...

Когда мы приезжали к родителям в гости, наши три дочки спали в большой комнате, и папа — проходя ночью в туалет — надевал спортивный костюм. Мама говорила, что дети спят и ничего не видят, но папа считал, что нужно вести себя прилично. Вообще к внукам у него появилось нечто вроде нежности. Это радовало меня. Я думала, что приближается время, когда и мне он скажет, как старый князь Болконский, нечто в таком духе:

— Душечка!...

Но нет. Не услышала я ничего подобного.

А сказал много нежного он моему брату, который разбогател во время рыночной эпохи, когда папа уже был на пенсии. Тут вдруг у папы появились ласковые интонации, булгаковская улыбка и ласкательные суффиксы. Все это для него, для сыночка! Для любимого! Когда брат разорился (рейдерский захват), папа продолжал говорить с ним особым добрым голосом и улыбаться булгаковской улыбкой! Какие гены зажиточного крестьянина взбурлили в нем? А вот какие-то взбурлили...

Неужели деньги — та живая вода, которая очеловечила его? Он и ранее был против, чтоб я бросила диссертацию, говорил:

— Литература может прокормить только таракана...

— Но человек деньгами не исчерпывается! (я)

— Он ими даже и не начинается, — добавил Слава.

— Деньги решают все, а большие деньги решают все остальное...

— Да? Ахматова вот говорила: единственное настоящее богатство — отношение к тебе людей, все остальные богатства — ненастоящие.

Здесь хочу сделать отступление. Один мой родственник — закончив два вуза — женился на женщине без высшего образования и мучил ее вопросами: «Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?»

— Солнце вокруг Земли, — ответила она.

И он годами при нас высмеивал жену.

Тогда я посоветовала ей у мужа спрашивать: «где деньги?» Поскольку он зарабатывал немного, то сразу перестал мучить жену вопросами про вращение Солнца и Земли... Так упоминание денег однажды сыграло чудесную роль.

Между тем мне снились мужчины старше меня — все они объяснялись в любви. Поиск отца шел во сне. Другого отца — более доброго и любящего. Духовного отца. Это были: Солженицын, Ельцин, Ковалев и др.

Папа скончался от тромба — мгновенно, без мучений. Мамочка, прожившая с ним 60 лет, не могла быть одна, звонила мне каждую ночь, депрессия не проходила. Дело шло к плохому. И я помолилась:

— Папа, если ты можешь уже помогать — помоги мамочке успокоиться! Прошу тебя!

Утром звоню маме — трубку берет сватья:

— Ее увезли в травму — руку сломала.

И депрессии как не бывало. Боль в руке отвлекла от боли в душе. Узнаю папочку, подумала я. Это его такая своеобразная помощь! Сделал, что мог.

Его нет уже 8 лет, и я стала замечать, что в мире есть мужчины — в основном красивые, как они удивительно ходят — быстро, решительно! Они помогают мне донести тяжелые сумки, делают комплименты. Пишут в фейсбуке глубокие отзывы о моей прозе! И даже делают предложения руки! Но я замужем. Зато мир стал полон, и я стала счастливее.

И вот на днях по «Культуре» читали «Войну и мир». Вижу я сон: я молода, в спальне лежит с книгой очень пожилой мужчина, которого я и люблю, и боюсь, но любовь сильнее, и я под предлогом спросить о значении иностранного слова вхожу и спрашиваю — он быстро и недовольным голосом говорит перевод этого слова, я при этом испытываю огромное счастье... (это все поиски отца — я засыпала при словах из «Войны и мира», как княжна Мари любила отца и прощала ему бесконечные издевательства...).

Я проснулась и поняла, что ОЧЕНЬ, БЕЗМЕРНО люблю своего папу! И я счастлива! Лучше поздно, чем никогда...

Сергей Сигерсон

Пермский акцент в имажинистском интернационале 1920-х годов



Герои этих заметок — не известная связями с Пермью троица Дягилев, Каменский, Пастернак (хотя и они занимают тут подобающее место), а мало известные публике деятели искусств. Родившийся в Париже питерец Лев Гордон успевает побыть английским торговым чиновником, сыном невозвращенца (банкира-живописца), европейским салонным лектором, парижским арестантом-революционером, уральским ссыльным эсером, московским переводчиком, американским практикантом, театральным рецензентом, женихом-мужем анархистки, арестованным красными заграничным шпионом, донским рисоводом, кубанским механиком, беломорским строителем, авиационным инструктором, узбекским нефтяником, столичным театральным преподавателем, председателем альпинистов, библиотечным специалистом по маргинальным вольнодумцам мюнхгаузенской эпохи. В 1927-м и 1957-м его принимает под свою опеку Пермь, здесь он работает в газете, театре, педагогическом институте, воспитывает диссидентов и просто культурных людей, переживает доносы-увольнения-высылки. Друживший с ним тогда вождь пермских фантастов, знаменитый переводчик, берущий один из псевдонимов калькой у московского фэкса, урождённый одессит А. Грузберг (известен также под псевдонимами Г. Александров и Д. Арсеньев)

рассказывает мне, что об авангардной молодости Л. Гордон старается не вспоминать: «Знаю, что он жил в молодости в Европе, но чем он там занимался, не знаю... Хотя именно он познакомил нас с творчеством Вад. Андреева». Во время поездок на отдых в Одессу целыми днями экс-авангардист просиживает в архивных залах библиотеки над рукописями пушкинской эпохи.

До сих пор слабо затронутая исследователями тема — эксцентричный Имажинистский Интернационал. Проговариваем только основные вехи. Московская Ассоциация Вольнодумцев 1920-х проводит акции под лозунгом «Имажинисты всех стран, соединяйтесь!», а своей структурой пародирует партийные органы. В тюремной анкете С. Есенин графу «партийность» метит: «имажинист». Вот, например, состояние дел по докладной записке В. Шершеневича на 1922 год: «Верховный Совет Ордена Имажинистов: Есенин, Мариенгоф, Кусиков, Якулов, Шершеневич. ЦК: те же + Б. и Н. Эрдманы, Авраамов, Павлов. Московское отделение: верховные советчики плюс цекисты, плюс: Златый, Земенков, Краевский, Мар, Вольпин, Грузинов, Ройзман, Маслеников, Ивнев, Эрберг, Рок, Светлый, Шмерельсон, Спаский, Тренин».

В журнале ассоциации «Гостиница для путешествующих в прекрасном» Б. Глубоковский отмечает: «Из группового течения имажинизм вырос в большое литературное направление, проникшее во все углы СССР... Господство футуризма кончилось... лучше подражать Шершеневичу прошлого, чем штампованному футуризму настоящего». Здесь же печатаются среди прочих боевых теорий статья парижанина-дадаиста Ф. Леже, отдельные обзоры белорусских (группа «Маладняк» во главе с М. Чаротом) да еврейских имажинистов (попутно — американских да украинских), рецензии на соратников да подражателей со всего мира (Н. Берендгоф, К. Вагинов, Э. Герман, В. Маяковский, Б. Пастернак, С. Ромов, Е. Стырская, Н. Хабиас, Л. Чернов, С. Шишкин, др.). В последнем (как оказывается тогда) номере журнала 1924 года анонс так и не выходящего альманаха «Вольнодумец» с тремя очагами движения да тремя десятками картинок: «1 сентября с.г. Роман, драма, поэмы, философия, теория, поэтика, живопись, музыка, театр: Россия, Зап. Европа, Америка; 30 репродукций». В Париже 1924-го А. Мариенгоф (в одном из трёх своих заграничных туров) с А. Кусиковым (застрявший там) доводят «Вольнодумец» почти до печати, торопят московских друзей с присылкой материала. Тогда же запускает в Париже свои настоянные на эксцентрике ленты интернациональная дада-компания Р. Клера (начинается цикл «Антрактом», завершается «Вояжом имажинариста»), сам режиссёр и позже подчёркивает свою благодарность русскому постановщику Я. Протазанову, который приводит его в кино (делает из журналиста актёра).

В том же 1924-м держащий нос по ветру всех новых идей обосновавшийся на Сене пермяк С. Дягилев (помогает с визой прибытия даже В. Маяковскому) для парижских «Русских сезонов» затевает с имажинистами балет «Стальной скок». До триумфальной премьеры проходит три года с тройной сменой названия (в т.ч. заумного да концептуального), отказом от сотрудничества трёх активистов Ассоциации Вольнодумцев (А. Кусиков, В. Мейерхольд, А. Таиров), созданием окончательного сценария троицей экс-москвичей: композитор С. Прокофьев да художник Г. Якулов (сотрудники по кабаре «Питтореск») при участии режиссёра-танцора Л. Мясина (Массина). Стиль продолжает линию открытого якуловской бригадой в «Питтореске» конструктивизма да «танцев машин» Мастфор, влияя на последующие работы не только «Русских сезонов», но и всех передовых американских-европейских трупп. Соратники-соперники главного имажинистского художника после его смерти создают в Париже для пропаганды идей (три западных синонима — люминизм, орфеизм, симультанизм) да устройства выставок международное ОДЯ (Общество Друзей Якулова): Р. Делоне, В. Маркаде, П. Пикассо, С. Прокофьев, Б. Сандрар, С. Терк, Р. Херумян, М. Шагал, др.

Гастролёр С. Есенин в Берлине (с одесским эмигрантом А. Ветлугиным (В. Ветлугиным (В. Рындзюном (три варианта))), в Париже (с А. Кусиковым), в Нью-Йорке (с В. Левиным)

затекает филиалы издательства «Имажинисты», рисует обложки будущих здешних книжек с логотипом издательства, устраивает публикации московских друзей, собирает старых товарищей по российским поэтическим боям (Л. Гребнев, И. Левин, др.), привлекает близких по духу эмигрантов (К. Аладжалов, т.п.). Один из них — Д. Бурлюк — не только рисует портреты гостя, но и газетно оповещает: «Предполагаются поэзоконцерты прибывшего поэта. Стихи Есенина переводятся на английский язык и скоро будут предложены американскому читателю. Поэт предполагает пробыть в Америке три месяца. Своей внешностью, манерой говорить С. А. Есенин очень располагает к себе. Среднего роста, пушисто-белокур, на вид хрупок. Курьёзно, что американская пресса величает С. А. Есенина украинским поэтом — это его-то — беляка-русака!» Прибывший всюду загружает переводчиков, проводит театрализованные вечера в духе «Стоила Пегаса». Например, нашумевший в Берлине 1922-го «Вечер четырёх негодяев» под лозунгом «Нам хочется вам нежное сказать», где А. Н. Толстой читает доклад «Три каторжника» про сотоварищей по спектаклю А. Ветлугина, С. Есенина, А. Кусикова. Другой вечер проводится в советском посольстве к пятилетке революции в похожем составе 3+1: А. Кусиков, В. Маяковский, И. Северянин (причастники имажинизма читают стихи), А. Н. Толстой читает отрывки из просоветского «краснопинкертоновского» романа «Аэлита». Троицей (А. Кусиков, И. Северянин, А. Н. Толстой) выступают вскоре перед русскими студентами Берлина. Там же чуть позже 3+1: С. Есенин, А. Кусиков, А. Н. Толстой + со стихами Мар. Андреева (Желябужская (Юрковская (три варианта))) — одна из трёх максимогорьковских жён.

Под впечатлением от этого (а также гастролей связанных с имажинизмом Б. Глубоковского, А. Мариенгофа, Б. Пастернака, Б. Пильняка, А. Ремизова, Вл. Соколова, В. Шкловского, др.) создаётся недолгая активная группа берлинского русскоязычного молодняка «4+1» (также привет группе всёев «41°») из трёх поэтов (Вад. Андреев, Ю.(Г.) Венус, С. Либерман), одной поэтессы (А. Присманова из московского СоПо (Союз Поэтов)), одного прозаика (Б. Сосинский). Есть и расшифровка как союза четырёх кавалеров с дамой. В их составе выступают также троича поэтов Л. Гордон (будущий пермяк), В. Пиотровский (Корвин), С. Шаршун, выставляется художник Н. Зарецкий, не успеваешь приехать лично поучаствовать приглашаемый письмами заочный соратник Д. Резников (пожизненный друг в троиче с Вад. Андреевым да Б. Сосинским — от константинопольского кружка лицейских поэтов через Обезвельволпал (богемное тайное общество Обезьянья Великая Вольная Палата) до парижских союзов, даже женаты эти трое друзей на родных сёстрах, дочерях эсеров-прозаиков В. Чернова с О. Колбасиной). Группе посвящает тексты дружественная троича обитающих тогда в Берлине, но официально не входящих единомышленников из Парижа — Вл. Свешников (Кемецкий (Свечников (три варианта))), К. Терешкович, Б. Поплавский (Борис Веселов (Боб Мак Намара (три варианта))). Подобно известной арт-группе «Тринадцать», в которой состоит намного больше, «4+1» на самом деле объединяет 13 вышеперечисленных активистов. В знаковом для эксцентриков 1924-м в издательстве «4+1» выходит единственный общий сборник «Мост на ветру» с откровенно имажинистским манифестом «Улыбка на затылке» да анонсом ещё восьми книг (выходит одна у Вад. Андреева (одноклассник петроградских поэтов-чинарей по гимназии)), проводятся совместные вечера-чтения. «Смесь Пастернака, Есенина, Маяковского. Много железобетона, несгораемых двигателей и синтаксически — «сдвигов», — пишет про стихи берлинской группы маститый парижский рецензент, поминая троичу самых известных Западу имажинистов.

Поворотным становится всё тот же 1924-й. В парижский круг левой молодёжи да салоны Дада по следам друзей из «поплавской» компании перебираются трое из ядра «4+1», вливаются в общество «Через», в 30-х с подтянувшимися товарищами организуют связанное с Прагой «Кочевье», провозглашают и отдельную группу поэтов-формистов. В Париже востребованный журнальный прозаик Б.(В.) Сосинский (Б.Р.В.(тройное имя — третий

вариант) Семихат) издаёт единственной авторской книгой «Махно», 1928, три автобиографических рассказа про Гуляй-Поле да Перекоп, которые критика обвиняет в подражании серапионам. Позже он да ещё трое из «4+1» оказываются в СССР (лагеря, т.п.). Последним перебирается в Москву С. Либерман, дольше друзей задерживающийся в Берлине как связанной с местными издателями для московского околоимажинистского круга (Р. Ивнев, Б. Пастернак, Н. Эрдман, т.д.). В Россию, мы напоминаем, возвращается и Л. Гордон.

Самое сильное в Казани национальное литературное движение «Взрыв» («Гисиан») пытается изменить изнутри своими силами (по возвращении из Москвы) красный командир, левый поэт-прозаик Кави Наджми, объявляя рождение татарского имажинизма. По примеру столичных собратьев да три года активничавшей группы русскоязычных имажинистов Казани «Витрина поэтов» («Бюро имажинистов» (ИМО — Искусство МОлодых (три варианта)): С. Арбатов, А. Безыменский, М. Березин, В. Дитякин, Ф. Киселёв, В. Клюева, В. Кудряшов, А. Ланэ, И. Махлис, М. Меркушев, М. Нечкина, И. Никитин, И. Плещинский, С. Полоцкий, К. Сотонин, С. Федотов, др. + остальные участники примыкающей группы графиков «Всадник» (привет мюнхенской интернациональной группе «Синий всадник»), + участвующая в сборниках казанцев заочно московская тройца (С. Есенин, А. Кусиков, В. Шершеневич). Татарские имажинисты не оправдывают надежд, заявленная группа быстро самораспускается, остатки вливаются в ТатЛЕФ (ТАТарский ЛЕвый Фронт). Эта организация прилюдно отрекается от предыдущих анархических акций местных левых (типа подвешиваемого И. Никитиным над головами зрителей выставки экспоната-кирпича). Демобилизованный колчаковцами К. Чеботарёв после ранения да отлёжки в белогвардейском омском госпитале возвращается в Казань, снова становится красным вождём местных левых художников, участвует в альманахе местных имажинистов «Автографы», 1922, тогда же выпускает альманах «Трое» (с постоянным соратником-женой А. Платуновой да другом Д. Мощевитиным) как наследие группы «Подсолнух», возрождает «Всадник» как атаман, оформляет спектакли «Красной блузы» да КЭМСТ (Конструктивно Экспериментальная Мастерская Современного Театра), проводит выставки-диспуты ТатЛЕФа, делает множество плакатов с красными бойцами, перебирается в столичные кино-театральные круги («Синяя блуза», ТЮЗ, т.п.), в 40-х плакатист «Окон ТАСС», позже — мемуарист-хранитель казанского авангарда. В год выхода на экраны «Красных дьяволят» К. Чеботарёв выпускает гравюру «Красноармейцы», на которой тройца героев фильма гордо идёт к подвигам.

Украинская красная диверсантка-партизанка-подпольщица, тараном яхты чуть не взрывающая Чёрного барона П. Врангеля (воплощая угрозу «дьяволят» в бляхинской редакции 20-х), уходящая в Турцию с белыми остатками, резидентка в европейских столицах 20-х, расстреливаемая чекистами в 30-х орденосная Е. Феррари (О. Голубовская) попутно успевает писать для детей в журнал «Пионер» да для взрослых в «Центрифугу», входит в левую богемную элиту Европы, дружит с дадаистами, заумниками, имажинистами (С. Есенин, В. Маяковский, особенно А. Кусиков), выступает в поэтических кабаре со своими сказками-стихами, в Милане организует с самыми левыми итальянскими анархофутуристами группу имажинистов (тройца инициаторов — У. Барбаро, В. Паладини, Р. Вазари (её соратник ещё по Берлину, 1923)). Эта группа успевает издать журнал «Колесо укуса» («Ла рутта дентата»).

Среди верхушки московских имажинистов заметная роль у тройцы армян: А. Кусиков, С. Мар, Г. Якулов. Мастерскую с последним делит Сем. Аладжалов из братской тройцы армянских левых художников. Бесследно сгинувший после 1921-го московский кокаинист, красноармеец Гражданской войны, звезда футуристических да имажинистских кабаре (в т.ч. в составе «Банды имажинистов», 1919) С. Заров, которому В. Шершеневич посвящает свой программный стих «Каталог образов», начинает как поэт публикациями в армянской прессе, 1916. Есть версия, что он армянин (Зарян, Зароян или Сарьян (три варианта),

родственник К. Заряна (о котором ниже) или якуловского друга-художника М. Сарьяна)). А. Кусиков да Г. Якулов (в троице с С. Прокофьевым) обсуждают в Париже будущий балет «Стальной скок». Они же (в троице с еврейским имажинистом-поэтом П. Маркишем) проводят пропагандистские вечера в парижских салонах, 1925. Лидер ереванских левых поэтов Е. Чаренц после полутора лет московской богемы возвращается на родину, где тут же публикует «Декларацию трёх» с соратниками Г. Абовым да А. Вштуни: «Традиции подобны чахоточным детям, которые испускают только заразу... Мы требуем... ввести: 1) Ритм как движение. 2) Образ как определение жизни. 3) Стиль и язык как выражение данной темы и темперамента». Сейчас группа Е. Чаренца лежит у историков полностью на левовской полке, но при ярком дебюте её постоянно обвиняют в упадничестве из-за бросающегося в глаза (да уши) имажинизма. Е. Чаренц отбивается: «Очень многому учился у Маяковского, которого могу с гордостью считать своим учителем. Шершеневич и Мариенгоф здесь ни при чём». Действительно, явные параллели его строкам находятся не там, а у С. Есенина с А. Кусиковым.

В Ригу из Москвы возвращается латышский красный стрелок А. Чак, переводит написанные в «Стойле Пегаса» свои русские стихи на родной язык, сочиняет подобное на латышском, как король поэтов («Апаш во фраке») группирует вокруг себя местных новаторов. Даже в сытой, медлительной межвоенной Прибалтике имажинисты заводятся. Чтоб не скучно. Троицу левых московских рижан с А. Чаком составляют Ш. Дубинский да М. Левилов, бывшие имажинисты на пути к ЛЕФу, маяковские друзья-соавторы.

За имажинизм в Эстонии корят (а когда за него хвалят?) трёх заметных в молодняке — Б. Нарциссова, Б. Новосадова, Ю. Шумакова и — особенно — группу «Раки на мели». Последняя представляет интересный симбиоз — в духе шершеневичевского «Мезонина поэзии» — курчавых эгофутурностей с нарочито грубой метафорикой да задорной арлекинадой. Застольный дружеский кружок при университете Тарту вырастает в целое явление — местной, но — Культуры. Б. Правдин с «Кодакозами имажиниста», И. Беляев с «Укутанным ватой сердцем», В. Адамс (Александровский, пишет и по-эстонски) со «Скорченными орбитами». Троицу местных усиливает заезжая звезда — даже старина И. Северянин в их сборниках печатает нетипичные гротескные пьески да пародийные поэмы. А затем и в московском издательстве «Имажинисты» выпускает переводы эстонского образноосца Х. Виснапу. Увлекающимся оказывается «король поэзии». Целый месяц перед тем гастролируют здесь по дороге в Берлин популяризаторы имажинизма — дружеский дуэт А. Кусикова с Б. Пильняком (увозят «короля» для совместных чтений с собою да другими москвичами-имажинистами в немецкой столице).

Пока самый левый блок чешских новаторов «Девять сил» («Деветсил») придерживается исключительно левовской ориентации, поэт-циркач В. Незвал держится в сторонке, именует себя с единомышленниками имажинаристами, при резкой эксцентризации группы не только входит в её верхушку, но и в троице с писателями-художниками В. Ванчурой да К. Тейге объявляет новое течение — поэтизм (воплощение шершеневичевского лозунга поэтизировать поэзию). Вместе с троицей основных левых режиссёров (Э. Ф. Буриан, И. Гонзл, И. Фрейка) В. Незвал перенимает название пражского перевода книги А. Таирова «Освобождённый театр» (за помощь в издании автор письменно благодарит В. Шершеневича) для вывески своих сценических экспериментов, организует обмен с театрами Ассоциации Вольнодумцев журналами-книгами. Вскоре воплощать «Освобождённый театр» начинает дуэт дадаистов-деветсилловцев-поэтистов ВВ (Я. Верих + И. Восковец (Ваксман (П. Долан (три имени))), из-за частого успешного участия Я. Ежека многими воспринимаемый как троица ВЕВ. Из своего театра троица делает вылазки на эстраду да в кино, в т.ч. голливудские комедии да театральные ревю Америки-Европы. Другая троица «освобождённых» поэтистов — И. Гонзл, Я. Сейферт, К. Тейге — тоже не ограничивается журнальными да сцени-

ческими опытами, с 1924 года (а когда же ещё!) активизируется на кинофронте. Правда, без такого успеха, как советские эксцентрики, дальше публикации сценария в своём журнале проект не идёт.

В польском футуризме тон задают последователи московских имажинистов С. И. Виткевич, С. Е. Лец, Б. Ясенский, др. (некоторые перебираются непосредственно с русской территории), но употребление этого термина ими в качестве самоназвания мне неизвестно. Зато его принимает многочисленная русскоязычная варшавско-пражская группа «Скит поэтов» («Мастерская слова» («Таверна поэтов» (три варианта))) с тремя дочерними филиалами (Берлин, Таллин, Ужгород). Атаман полусотни «скитников» (не считая «гостей и друзей Скита», в т.ч. левых белорусов, украинцев, чехов) — эмигрант из Одессы эсер А. Бем (ср. с интернациональным объединением трёх имажинистов «АБЕМ» — это название единственной книжки стихов С. Мар, посвящаемой А. Мариенгофу, в оформлении Г. Якулова). А. Бем в конце 30-х подчёркивает: «Если Париж продолжал линию, оборванную революцией, непосредственно примыкая к школе символистов... то Прага прошла и через имажинизм, смягчённый лирическим упором Есенина, и через Маяковского, и через Пастернака. Это не подражание, а естественный путь развития русской поэзии». Основное название переключается с московской «Сектой поэтов» молодых имажинистов, 1919, во главе с И. Грузиновым (да и с «Мезонином поэзии» В. Шершеневича).

Хотя и про сотрудничавший с Ассоциацией Вольнодумцев парижский интернациональный левый молодняк «Через» Вл. Ходасевич брюзжит: «Они до сих пор находятся в той стадии футуризма, которая пройдена Маяковским к 1918, имажинистами и т.п. группами — к 1920, Пастернаком — примерно к 1922». А ренегат имажинизма Б. Лавренёв печатает доносы: «В грязном стойле Шершеневича — поэтическая братия стряпает всё то, что эхом отдаётся на другом континенте и прокатится по всему миру». Лишь суровые 1930-е, к радости брюзгливых, губят не утвердившийся эксцентричный (с уклоном в имажинизм) Интернационал. На звание которого претендует группа «Через» — изначально тройное объединение: трёх активно выступающих в кабаре да немного печатающихся парижских русских групп («Гатарапак», «Палата поэтов», «Удар»), трёх эфемерных издательств («Двенадцать», «Канарейка», «Мишень»), трёх более долго живущих («Орфей», «Перевоз», «41°»), общее русло для трёх в остальном различных культурных потоков (европейский, советский, российско-эмигрантский). С этой группой в «Гостинице для...» имажинисты в счастливый для эксцентриков 1924-й обходятся запросто: «Мы с особой любовью протягиваем через десятки границ — дружескую руку нашему далёкому другу». А разочаровывающийся Ильязд тогда пишет В. Кемецкому из Парижа в Берлин (написание по источнику): «ЧЕРЕЗА нет/ УДАРА нет/ Парнаса нет/ вообще ничего в Париже больше нет, так меня нет!.. не дрожите со скуки! уезжайте скорее в Россию — там Ваша страсть к трагедиям найдёт применение. читал Ваши стихи в Накануне — Вы пишете лучше всех хуёв, но не станьте иммажинистом! в Ротонду не хожу, Ходасевич отравил атмосферу, теперь ему в этом помогает Мариенгоф. Кое-кто из Камерного приехав удивлён, что на них больше и не срут». Адресат вскоре высылается возмущёнными его левизной немцами в СССР, где расстреливается после советских лагерей-ссылок-тюрем.

Правда, уже после есенинской смерти — на лекции в Союзе русских художников Парижа, 1926 — Ильязд читает доклад с тезисами типа «Имажинизм — спасательный круг». Но этот год считается последним в «героическом периоде» русско-парижского авангарда. Несмотря на появление новых сил, дающих напоследок три недолговечных органа. В 1926-м в Париже выходит журнал «Напролом. Двухнедельник независимых» (затем «Звонарь») при издательстве «Очарованный странник» беглого публикатора имажионистов, футуристов, фэксов В. Ховина, третий его орган после невских «Очарованный странник» да «Книжный угол». Издатель погибает в немецком концлагере, как еврей (из одесских окрестностей), так

и не выпустив анонсированного им ещё в 1924-м журнала питерских имажинистов (с обзориутами) «Необычайное свидание друзей». В 1926-м в Париже выходит журнал «Ухват» при издательстве «Птицелов». Это один из трёх подобных проектов (+белградская «Медуза», парижский «Честный слон») Д. Кобякова (А. Зингер (А. Хлыст (три варианта))) — бывшего военного санитаря, боярского потомка, киевского беглеца, одесского комсомольца, основателя масонской ложи, французского коммуниста, раненого бойца антифашистского Сопротивления, активиста литгрупп 10–40-х (парижский Клуб Молодых Литераторов, парижско-пражское «Кочевье», московский «Млечный путь» с молодыми имажинистами, пражский «Скит поэтов», тифлисский Цех Поэтов), который умирает заводским слесарем-пенсионером в том же алтайском городке, где находит финал и В. Шершеневич. В 1926-м в Париже выходит «Вавилонская башня. Журнал всех континентов», третий подобный (после «Капища» да «Храма на холме») для издателя К. Заряна (Г. Зарьяна (К. Егиазарянца (три варианта))) — сына армянского генерала, азербайджанского гимназиста, французского лицеиста, бельгийского студента, немецкого смертника, российского боевика-социалиста, болгарского искусствоведа, кавказского военного корреспондента, турецкого смертника, итальянского футуриста (из самой верхушки движения), раннесоветского журналиста, средиземноморского философа-отшельника, американского профессора, бейрутского лектора, неоднократного арестанта разных стран, всемирного скитальца, пишущего авангардно на многих языках драматургию-прозу-поэзию (три вида). Именно он (под именем Т. Багдасарян) является одним из трёх арестованных мюнхенской полицией в 1908-м при обмене денег, захваченных самым знаменитым налётом большевистской боевой группы С. Камо. Именно он публикует в «Вавилонской башне» при поддержке французских левых художников да индийских-испанских прозаиков свои переводы на французский трёх русскоязычных дада-имажинистов (А. Кусиков, М.Л.М. Талов, С. Шаршун). Именно он после возвращения по приглашению властей в Армению 60-х печатает искупированные мемуары, при внешнем почёте работает в музее имени атамана армянского советского авангарда Е. Чаренца.

Забавную вариацию Дада (из-за наборщика, вероятно) рождает берлинский журнал «Вещь» № 3, 1922: «В Париже существует русский кружок левых поэтов «Палата поэтов». Он поддерживает дружественные отношения с французами, в частности с группой «Даида». Зданевич продолжает в Париже деятельность тифлисского 41°... В Берлине выходит сборник петербургских «Братьев Серапионовых». Предыдущая «Вещь» №1–2, 1922: «Мы приветствуем «Удар»... — друзья и единомышленники «Вещи». Здесь анонсы (чаще всего исполняемые) текстов Н. Асеева, С. Буданцева, С. Есенина, О. Мандельштама, В. Маяковского, В. Парнаха, А. Таирова, фэксов, «Виктора Шкловского и всех «Опдязцев» (именно так!). Тут же в статье Ж. Сало (французская маска И. Г. Эренбурга): «Теория имажинизма... России... напоминает однородные: английский «имажинизм», испанский «имажинизм», наш довоенный «фантазизм» (Тристан Дэрэм и др.). В 1922-м её утверждения звучат либо реакционно, либо наивно». А на следующем развороте с пометой «в порядке дискуссии» манифест А. Кусикова «Мапа и пама имажинизма», который заканчивается: «Стойло Пегаса можно отдать Маяковскому, пусть он там стоит, бьёт о землю некованым копытом и ржёт стоялым жеребцом... Конь нынешних поэтов не Пегас, а само время... Нет искусства кроме имажинизма — имажинисты пророки его. Слава нам!» Тогда же в берлинском журнале «Сполыхи», 1922, редактор А. Дроздов с положительной характеристикой имажинистов помещает «Мысли о здоровом»: «Сегодняшний день отмечен в календаре русской словесности красной праздничной датой, началось братание двух русских литератур, литературы, живущей в шалашах родины, и литературы, бьющейся на мостовых иностранных столиц. Я умышленно сказал «братание», хотя брататься, понятно, нечему и незачем: человек, вставши поутру, не станет в знак утреннего приветствия жать правой своею рукой левую — в лучшем случае поглядится в зеркало и потреплет себя по щёчке».

Друг всёков по Москве, 1910, актёр-писатель-теоретик-художник, словацкий сын Серж Шаршун дезертирует из Российской армии, 1912, всплывает в кубистских студиях Парижа, с 1916-го в Барселоне активничает в рядах дада, которые свой журнал во главе с Ф.М.М. Пикабиа называют «391» (к предыдущему названию «291» специально прибавляют единицу, теперь сумма трёх цифр составляет важное для эксцентриков число 13, затем журнал возрождается, выходит в трёх столицах — Барселона, Нью-Йорк, Париж). С 1920-го С. Шаршун в Париже связывает французскую дада-группу с русскоязычными «Гатарапак» — «Палата поэтов». Будущая есенинская жена А. Дункан, участница парижских дада-акций (вослед брату Р. Дункану) да вечеров русских авангардистов, перед поездкой в Россию расспрашивает у Шаршуна о его родине. В 1922-м С. Шаршун тоже решает ехать с подругой-полячкой Е. Грюнгофф (Грингофф (Х. Грюнхофф (три варианта))) в страну победившего имажинизма (третьим после сопалатников М.Л.М. Талова с В. Парнахом (тот тут эпизодно актёрствует в знаковых фильмах и питерских, и московских фэксов («Весёлые ребята», «Похождения Октябрины» (не всегда присутствует в титрах))). Но С. Шаршун застревает в Берлине, где общается с понаехавшими имажинистами разной степени (А. Белый, С. Есенин, В. Маяковский, А. Ремизов, др.), издаёт теорию дада книжкой, много выступает (в т.ч. в писательской троице с С. Либерманом, А. Присмановой от «4+1»), устраивает выставки дуэтом (с поэтом-художницей Е. Грюнгофф) или в троице (с эмигрировавшими амазонками авангарда К. Богуславской (Пуни) да Е. Лисснер (Бломберг)). От возвращения на родину пылких романтиков Сергея с Еленой отговаривает всё та же А. Дункан, уже хлебнувшая советской жизни (притом — не в худшем виде, как хозяйка имажинистской штаб-квартиры «Особняк на Пречистенке» да опекаемая властями «сочувствующая» гостья страны). В 1923-м Шаршун возвращается в Париж, активничает в трёх новых левых объединениях на стыке 20–30-х («Кочевье», «Через», «Числа»). Иногда в составе журнала «Числа» печатаются листовки шаршунского издательства «Перевоз» (до 1949 года выходит 13 одноимённых, тогда же и затем — масса подобных). Первый из трёх берлинских номеров «Перевоз ДАДА» наиболее связан с имажинизмом: «Ничевоки — никудашники», «Имажи канатоходства плывущие на руках до стенки. Руки сладкопевцы рупоры. Митинговые акафисты грабли и россыпи ручных щедрот гранат шведской и гипнотизёра гимназии», «Отряхнём прах политики с ног», «Кисель морщин волос подошв глаз», «Последняя перепись установила, что в Риге вылупилось 13 циплят растаскивающих говно по холсту — кукующих выклевать глаза французской живописи», «Вещичка вышивает ДАДА бисером подпрыгивая карасём на сковородке, а радиоактивная вывеска есенин топит все вещи небоскрёбных мостов»... Завершается номер программным обращением к троице заочных друзей («Телеграмма: Москва Кручёному Петникову Родченко — Перевоз ДАДА отплыл в первый рейс с подкреплением») да рекламой своей берлинской троицы поэтов-художников (С. Шаршун, Е. Грюнгофф, пастернаковский племянник-одессит Ф. Гоziасон (Германович (Ж. Сабиле (три варианта))). Адрес редакции указывают по-имажинистски: «Отель: «Корабль без единого приключения». А второй номер заканчивается уже вполне товарищеским посланием ничевокам при издёвках над берлинскими соседями, особенно группой «Веретено»: «Телеграмма НИЧЕВОКАМ, Москва. В день годовщины перехода власти в руки Формального Метода Интернационал ДАДА шлёт своё братское «не сдавай». Сейчас ливень в странах Дроздопоклонников... Не покупайте дроздодолларов у них бумажные подмётки». Постоянны нападки на конкурирующие группы, в т.ч. бывших да будущих сотоварищей, лишь поддержка группы Т. Тцары неизменна. Берлинские вечера имажинистов в шаршуновых письмах Т. Тцаре: «Кусиков, сентиментальный молотобоец, который скоро перестанет писать, и гениальный Сергей Есенин, митинговый эпический апостол, который говорит, апокалиптически вздымая руки... Кажется, именно «ничевоки» ближе всего подойдут к дадаистам». Трижды листовками 1929–1934 печатает смешные коллажные тексты-провокации парижская троица (Шаршун, Ал. Гингер, Б. Поплав-

ский): «Русский Хай-Кай. Перевоз №10», «Трое. Перевоз №11», «Орфеи. Перевоз №12». Порой участвуют в «Перевозе» трое не совсем авангардистов: Г. Раевский (Оцуп), М. Струве, В. Унковский.

«Гатарапак» до сих пор пытаются расшифровать как аббревиатуру по именам создателей, но это просто абсурдная модель типа Дада или заумный имаж. В 1920-м сильно заинтересовывается дада влиятельный парижанин-издатель Ж. Поволоцкий (Я. Бендерский (М. Плехотников (три варианта))). Этот урождённый одессит Яша Бендерский, как и его возможный родственник О. Бендер, участвует во множестве разнонаправленных авантюр — киевский университетский студент, берлинский музыкант-дирижёр, парижский организатор «Осеннего салона» художников, французский капрал-доброволец на войне с немцами, библиотекарь-архивист масонской ложи «Фивы», один из основателей филиала масонской ложи «Северная Звезда», издатель теоретических да мемуарных трудов всех участников Гражданской войны (белых генералов, коммунистов, эсеров, пр.), подозреваемый в связях с Коминтерном, выпускает отличных альбомов по искусству да современных русских-французских прозаиков-поэтов, покровитель Одесского землячества в Париже. Всегда — активный общественник, иногда — активный литератор (под псевдонимом), сбиваемый военным грузовиком сразу после войны, 1945. Ж. Поволоцкий открывает при своём книжном магазине левую галерею «Мишень» с одноимённым издательством, акцентируя связь с довоенными всёками Ослиного Хвоста (их выставка «Мишень», 1913) приглашением М. Ларионова, выпускает дада-листовки да текстовки, проводит концерты да выставки дадаистов.

Помимо стиховечеров (декламации, доклады, лекции) да эксцентричных кабаре-скетчей (где роли играют поэты) парижская «Палата поэтов» затевает своё издательство с одноимённым журналом, куда главред одессит с тройным именем М.М.Л. Талов приглашает (в т.ч. заочно) и околоимажинистских москвичей, и тифлисских эмигрантов футуристов, и парижских ветеранов авангарда (в т.ч. местных): К. Бальмонт, С. Буданцев, А. П. Галлиен (Гальен), Р. Гиль (Гилберт (Жильбер (три варианта))), Ал. Гингер (Агния Нагаго), Ж. Дюамель, Г. Евангулов, М. Жакоб, Замтари (А. Меликова), Р. Ивнев, В. Ильина, Ж. Кассу, А. Мерсеро, А. Модильяни (Модиглиани), В. Парнах (Парнок), Б. Пастернак, М. Струве, М. Цветаева, С. Шаршун, И. Г. Эренбург (автор «Тринадцати трубок»), др. Проект рушится после приглашения издателем-одесситом О. Зелюком в редакторы более правого поэта-художника А. Койранского (эвакуируется из Одессы). «Свора верных» — неофициальное название «Палаты» по гингеровской книжке, посвящаемой основателям группы.

Кроме «Выставки тринадцати», 1922, в облюбованном русской молодёжью парижском кафе «Хамелеон» (вослед «Вечеру тринадцати», 1918, в московском Союзе Поэтов под водительством имажинистов) активисты «Через» организуют еженедельные собрания с литературными чтениями да докладами по всем стилям авангарда, поэзовечера с попутными демонстрациями художников да музыкой, чествования приезжающих из-за красной границы (в т.ч. три имажиниста С. Есенин, А. Кусиков, В. Маяковский), три групповые выставки в кафе «Парнас», 1921 (в т.ч. «Сотня с Парнаса» (рифмой к «Стойлу Пегаса»)), затем — в других кафе да небольших галереях до конца 20-х (в т.ч. «33 русских художника»), актёрствует в акциях французских Дада, печатает рекламу «Маковца» да «Гостиницы для путешествующих в прекрасном», пытается подружиться с ЛЕФом. Год до 1924-го — особенно много акций с московскими имажинистами. «Через» организует цикл представлений «Неделя Камерного Театра» (приехавшего на гастроли в Париж из Москва через Берлин) — с однодневной выставкой в галерее П. Гийома макетов декораций да эскизов костюмов КАТЕТ, с тремя театральными докладами в кафе «Сиреневый хуторок» (В. Барт, Ильязд, Вл. Соколов), с последующим диспутом о театральном авангарде. Тут же в 1923 А. Таиров хочет ставить в московском КАТЕТе пьесу главного дадаиста Т. Тцары «Платок облаков» (безрезультатно, ставится самими парижанами в более счастливом для эксцентриков 1924-м). Тогда

же в Берлине А. Таиров обсуждает проект постановки тцаровского «Газодвижимого сердца» с его переводчиком С. Шаршуном. На вечере «Через» в кафе «Хамелеон» проводят свои «Беседы о театре» связанные с КАТЕТ да ОГЕТ актёры-режиссёры-теоретики Б. Глубоковский («Художественная жизнь Москвы») да К. Эггерт («Русский театр за 1919–1922 годы»). Совместно с Союзом русских художников в Париже «Через» организует яркие костюмированные тематические благотворительные балы в пользу нуждающихся художников, где дадаистическим юмором да имажинистской образностью щеголяет весь художественный цвет интернационального Парижа, афиши-листовки-плакаты выполняются как дада-объекты. А над Монпарнасом развеваются свитки со стихами лично отсутствующих А. Кручёных, В. Маяковского, И. Терентьева, В. Хлебникова, В. Шершеневича, др. Самая шумевшая акция группы — театрализованный русско-французский «Вечер Бородатого сердца», 1923, на котором после руколомной драки с вмешательством полисменов окончательно размежевываются «чистые дадаисты» под атаманством Т. Тцара да будущие сюрреалисты во главе с фюрером А. Бретоном.

В состав группы, которую добротный том «Дада в Париже» М. Сануйе обозначает как «русскую любительскую авангардистскую труппу под названием «Через» при издательстве «41°», входит более широкий круг. Эмигранты из московских да питерских театральных «камерников», Ордена Имажинистов да Ордена Серапионовых братьев, неевского да украинского футуризма, тифлисского да цюрихского Дада. Шершеневичевские коллеги по киношной «Драме в кабаре футуристов» Н. Гончарова с М. Ларионовым. Автор обзоров в «Гостинице для...» Ф. Леже с российской женой-художницей Н. Леже (Н. В. Грабовская (Н. Ходасевич (Н. Ходосевич (ещё три варианта))). Командированные для повышения рисовательного мастерства из Тифлиса «три мушкетёра» Д. Какабадзе, Ш. Кикоидзе, Л. Гудиашили (В. Гудиев (Ди Ладос (три варианта))). Последний из этих друзей порой отождествляется с загадочным московским имажинистом-художником Дид Ладос. Есенинско-кусиковский ученик Б. Божнев (Гершун), первую книжку «Друзья» затевающий как сборник в трио с Ал. Гингером да К. Терешковичем. Есенинская жена-босоножка А. Дункан, её брат-соратник, танцор, художник, поэт Раймон (третья семейная танцорка, дочь Ирма Дункан, блюдёт в Москве бывшую штаб-квартиру имажинистов на Пречистенке (вообще у Айсейдори три брата-сестры, все актёрствуют)). Начинаящий с «имажинистических трагедий» да «кубоимажинистической росписи» брат шершеневичевской подруги-ученицы — Б. Поплавский (три первых самиздатских книги посвящает (каждую) трём разным друзьям-подругам). Актриса КАТЕТ да синема, балерина да писательница, художница да дизайнер Вера Судейкина (де Боссе, ещё по трём мужьям — Люри, Стравинская, Шиллинг) с подругой А. Даниловой (Тула), работающая под общим именем Тулавера. Шершеневичевский друг-соавтор по началу имажинизма Л. Зак. Друг-соратник С. Юткевича по крымскому футурному альманаху с манифестом эксцентризма «Кабаре на эшафоте» П. Челищев (в Киеве весной 1919-го при большевиках празднично оформляет город монументальными панно за красных, с августа 1919-го — в белой Добровольческой армии картографом, вычерчивает укрепления Сивашского перешейка, эвакуируется с врангелевцами). Троица армянских художников, прошедших богему Батума, Берлина, Константинополя, Москвы, Рима, Тифлиса: В. Боберман со своими сёстрами Е. Шилтян (Боберман) да З. Готьё (Боберман), плюс сестрины мужа-художники М. Гот (Готьё) да Г. Шилтян. Лётчик, певец, художник (три амплуа) В. Поляков-Байдаров (отец трёх сестёр-актрис, в т.ч. М. Влади (актриса, писательница, художник (три амплуа), третья жена В. Высоцкого)). Провозглашающие идентичные имажинизму теории испанские-латиноамериканские представители мощного движения ультраистов во главе с троицей В. Гидобро (Гюдобро (Уидобро (три варианта))), Р. Гомес де ла Серна, Г. де Торре. Выходец с Украины С. Ромов (Ромофф (Роффман (три варианта))) — один из трёх лидеров «Через», сотрудник французских галерей-журналов-издательств авангарда, организатор парижской «Выставки

тринадцати», 1922, многих других акций да проектов (в т.ч. неудачного издательства «Двенадцать»), затем уезжает в СССР, активно печатается (в т.ч. фантастическая повесть «Одна треть жизни», 1928), в Москве сотрудничает с группой художников «Тринадцать», расстрелян в 1939-м (после ареста, 1933, пыток, освобождения, новых арестов).

Такая вот небольшая «русская любительская труппа при издательстве». Возврат в Россию обитающих тогда на Монпарнасе со своими проектами Б. Глубоковского, С. Есенина, А. Мариенгофа, В. Маяковского, К. Эггерта, Г. Якулова и компании не даёт судьбе имажинизма сложиться в Париже так же естественно да удачно, как у сюрреализма, например. Некоторые из участников распавшегося Имажинистского Интернационала, возможно, тоже прошли пермскими дорогами. Расследования ведутся...

Зачем и кому нужны поэтические книги?

В прошлом году на Урале появились два издательства, специализирующихся на выпуске поэтических книг. «Вещь» попросила руководителей «Полифема» (Екатеринбург) и Евразийского журнального портала «Мегалит» (Кыштым) ответить на несколько вопросов, а критиков — отрецензировать выпущенные этими издательствами книги.

- 1. Зачем и когда вы придумали издательство?*
- 2. По какому принципу вы отбираете авторов?*
- 3. Кто финансирует ваше издательство? Думали ли вы привлечь общественные деньги через краудфандинговые платформы?*
- 4. Как вы продвигаете книги — презентации, социальные сети, сайт в интернете и т. д.?*
- 5. Не чувствуете ли вы переизбыток поэтической продукции? Даже так: чувствуете ли вызов сегодняшнего времени, когда читателей становится все меньше, а писателей — напротив? Нужно ли это принять? Или сопротивляться?*

Руслан Комадей, поэт, руководитель издательства «Полифем» (Екатеринбург):

1. Меня почти всегда будоражило оттого, что у важных для меня поэтов, живущих в Екатеринбурге, не было ни одной своей книги. Слишком близко, чтобы терпеть. В 2013 году начал я делать книжку Влада Семенцула. Ещё через год я её составил, и она вышла. Гештальт, закройся. Название «Полифем» было придумано чуть раньше.
2. Это первые книги молодых уральских поэтов, чья поэзия, как я надеюсь, может привлечь внимание не только внутри уральского поэтического поля.
3. Авторы в основном сами находят деньги, я ищу типографию, верстаю, редактирую. Лиза Шершнёва корректирует. Надеюсь, что в дальнейшем удастся добывать деньги на книги с помощью грантов.
4. Продвижением занимаюсь очень вяло через социальные сети и презентации. Самое полезное — отсылать изданные книги другим издателям и журналы на рецензию.
5. Какой избыток? У этих авторов (Еганы Джаббаровой, Владислава Семенцула, Александра Смирнова, Артема Быкова) книг-то не было пока! По мне так — чистой воды нехватка. Наблюдая за местным поэтическим сообществом: эти-то и своих коллег не всегда читают,

поэтому о чём тут говорить! Только издавать! Сейчас мне достаточно найти пару-тройку заинтересованных читателей, чтобы двигаться дальше. Куда уж желать большего.

Александр Петрушкин, поэт, основатель Евразийского журнального портала «Мегалит» (Кыштым):

1. Есть несколько авторов, чьи книги мне бы хотелось иметь на своей книжной полке. Они и вошли в авторы этой серии, первая книга которой вышла в октябре 2015-го. Это если коротко. Издательство же появилось еще в 2002 году и занимается столь же волюнтаристскими проектами вот уже 14 лет.
2. Основной принцип отбора столь мифологическая и мифотворческая штука, как мой личный вкус и круг чтения. Еще проще — предложения об издании отправлены были тем авторам, которых лично я признаю за поэтов (часть из них уже дала согласие, часть находится в стадии набора массива книги и время ещё есть — правда, только до конца ноября этого года, когда проект будет завершен вне зависимости от количества авторов, которых мы успеем в нем издать).
3. И серию, и издательство финансирует издатель. Есть и отдельные пожертвования от авторов серии (что сугубо добровольное дело, но и чему я лично рад).
4. И первое, и второе, и третье — то есть одно следует/вырастает из другого. Есть страница спецпроекта на портале «Мегалит», где представлены и pdf-версии каждой из книг, и обложки книг. Далее информация об обновлениях на этой странице распространяется через социальные сети. Ну и авторы в своих регионах проживания проводят презентации собственно книг — как в их бумажном варианте, так и в виртуальном (так, например, прошла презентация пилотной книги проекта Наталии Черных в Москве).
5. Переизбытка нет. На мой скромный взгляд, большинство того, что самопрезентует себя как поэзию, таковой не является или, точнее сказать, не является поэзией в моей частной версии литературы. Количество русских живых поэтов и их книг — константа практически неизменная еще с начала XIX века. Единственное, что в составлении своего «списка» ныне каждый участвует сам — ввиду поголовной грамотности населения, которая не более чем миф, но миф приятный — поскольку разрешает читателям / потребителям поэтической продукции думать о себе как про обладающих неким эстетическим вкусом, а поэтам / производителям продукции думать, что они создают некие «новые месседжи» для потребителя. И первое, и второе — как правило — иллюзия, следующая от поэтического невежества и неграмотности, ещё одна форма толерантности как формы психотерапии. И читателей поэзии, что в прежние времена было тысячи три на империю, что сейчас можно говорить про те же три тысячи — но вот качество этих читателей несколько иное и погружённость в поэзию совсем иная, другой подход. А про приятие или сопротивление — это не ко мне. Я полагаю, что единственное место, которое мы можем сконструировать так, как нам надо, — это наши внутренние области. Более того — только эти области и существенны. И в этой свободе всего лишь надо устоять, не отдавая власть над ними «внешним месседжам» и сигналам — но руководствуясь такой пошлятиной, как личный, частный вкус. Но вот чтобы вкус и градиент его появились, следует читать много — даже то, что с нами никак не совпадает.

Нина Александрова

Многоголосие всего

«Полифем» — новое поэтическое издательство, основанное в Екатеринбурге поэтом Русланом Комадеем, учеником Евгения Туренко, лауреатом литературной премии «Дебют».

С Русланом мы говорим после очередного литературного мероприятия. Он энергично рассказывает о головокружительных планах по поводу своего издательства: выпускать три линейки книг вместо одной. Молодые авторы-дебютанты. Состоявшиеся и никому не известные поэты. Супермалотиражное издание классиков, исправленных безжалостной редакторской рукой. Безумные андеграундные авторы, которые неинтересны широкому читателю.

Создавать авторское поэтическое издательство — идея авантюрная. Особенно если оно авангардной направленности. Особенно в провинции. Особенно после «Русского Гулливера», «Айлураса», «Воймеги» и транслитовской серии Kraft. Особенно без всякой материальной поддержки. Особенно в читательском вакууме. Вся эта деятельность — сплошное невероятное подвижничество, заслуживающее уважения.

Как известно, Полифем — гомеровский циклоп, который был ослеплен Одиссеем, скрывшимся под именем Никто. Но эта широко известная благодаря Куну история не так занимательна, как значение древнегреческого слова «полифем», которое по одной версии переводится как «много упоминае-

мый в песнях и легендах», а по другой — как «многоголосый». Именно в этом, втором, значении имя циклопа используется в названии издательства, которое стремится к полифоничности, многозвучности.

Мифологическое издательство с мифологическим названием и собственной тайной мифологией вполне логично продолжает историю уральской литературной жизни (и уральской поэтической школы), все время балансирующей на грани мифов и легенд. Пока в издательстве вышло всего три книги, все дебютные для авторов. На подходе опять-таки дебютный сборник стихов Артема Быкова. Вот и издатель «Полифема» учится в процессе выпуска книг, идет на ощупь, пишет свой миф и ищет тех, кто создает собственные.

Владислав Семенцул. «Рождение естественным путем»

Несмотря на концепталистские игры в духе Дмитрия Александровича Пригова, Сандро Мокши и ОБЭРИУтов, Влад Семенцул создает новый фольклор.

*Что ты девочка, что ты милая
Хочешь в почки? хочешь вилами?
Хочешь тапочки? хочешь белые?
Я куплю тебе вишни спелые*

*И в лицо тебе кину косточки
И к ногам твоим плюну мякишем
А зерном сырым буду пачкаться
Умываться им в воскресенье*

За всеми играми угадывается чисто шаманская практика заговора реальности.

*Не кричи ворона светом
У избы кривой подол
Открывайся в рот рассветом
От золы земля, я зол*

Это тайная музыка, которая незаметно затягивает — и твоё дыхание уже в её ритме.

*Мустафа писал помадой
Выл на вымя будто Пётр
От прохлады сладкой ваты
Мустафа кривлялся мёртвый
Мустафа кривлялся Пётром
Подоконником и мёртвым*

Это мир детей, абсурда и колдовства. Детских попыток спрятаться от абсурда и одиночества окружающей реальности, заговорить неизбежное.

*По кругу образы. Трамваи.
На листьях жёлтый цвет болезни.
Лицом в окно. Навстречу небу.
Навстречу мне, встречал руками.
Какой красивый мячик в луже.
Стучит в стене. Купили звезды
Я ожидал, но время в луже,
Но время в лужу, время завтра.*

Первая настоящая книга очень талантливого поэта. Первая книга издательства. Рождение естественным путем состоялось.

Егана Джаббарова. «Босфор»

Егана Джаббарова тоже создает свой миф. Ее мир — это мир запахов, предметов, цветов. У вещей пока нет названия. Все они новые, незнакомые и тайные. Все они что-то значат.

*кумин кардамон корица
запахами заселен весь дом
в полный рост становись, как птица
вслушивайся: шорох, пепел, гром
подол женщины пахнет снегом
подснежником
черемухой, которой нет...*

А еще это мир детей и мертвецов. Вокруг еще нет ни имен, ни понятий. Все зыбко и приблизительно:

*соленую воду сотри со лба
на свету копошится моль
вытряхивай пыть из кармана —
взгляд
ловит глухой непослушный звук
черные атомы встанут в ряд
слышишь: тук-тук...*

Читатель озирается, потерянный в тумане, среди цветов и запахов. И в какой-то момент понимает, что автора рядом нет. А все, что происходит, — медитация. Слепое ощупывание мира вокруг. Невероятная красота. Но автор не может ничего толком сказать — ее язык немеет перед этим великолепием. Остается только называть и перечислять. В попытке поймать уходящее сквозь пальцы волшебство.

*крапива выше моей головы
полынь заглушает слова травы*

*морозка чечевица черный и голубой
трава под землей — над головой...*

Мифы. Сказки. Воспоминания. Из этой самой верной материи Егана Джаббарова тклет медитативную сеть и ловит в нее читателя. Вот ты закрыл на секунду глаза, а открыл их уже в ее сне.

*...каждый остался сам
распутывать нить и не видеть сон
поднимающийся к небесам*

Вся книга — одно большое стихотворение, как тягучая восточная песня. В ней

пахнет пряной травой, горячими лепешками, розмарин горчит под языком — и всюду туман, полупрозрачные облака. В них бродят и растворяются семена-крылатки, ветви хурмы с тяжелыми плодами, мотыльки, слова.

Александр Смирнов. «Застывшая местность»

Миф Александра Смирнова — в создании и открытии новой земли. Поэт препарирует реальность и получает ее снова, вывернутую наизнанку.

*Слышишь,
камни шевелятся во все стороны,
будто в них переливается твердая
кровь.*

*Глаза застывают, как деревья, и
врастают в фон.*

Здесь человек становится частью пейзажа и растворяется в нем до полной неразличимости.

*Из рук тяжелых и венозных
ты пьешь себя, как молоко,
и в смерть идешь, где далеко,
и слышен окрик паравозный.
Сожми в губах вишневый выдох
и плюнь в колодезную жуть.*

*Сегодня снег нащупал выход
из глаз, которые идут.*

В какой-то момент среди большинства совершенно ненужных тестов в книге проskalывает настоящее волшебство. Но только на короткую секунду:

*переложение снега на рыбную речь
в перевернутом зуде в задержанном
тельце
я сдвигаюсь на выход съезжая из плеч
как сквозняк продувая короткое сердце
отступает проспект где подснежный
балет
где танцует без ног убиенный от снега*

*мерзлотой согревает как да и как нет
человек человека*

В остальное время в плоском мире тихо, и пустынно, и безысходно. В целом Александр Смирнов совершенно не обязательный поэт. Все время чувствуешь себя птенцом, которому безразлично предлагают покормиться чем-то вторичным и пережеванным. За множеством слов, построенных метафор и нагромождением конструкций мир его остается условным, книжным. Впрочем, есть ощущение, что автору хорошо в своем вакууме и без читателя.

*голодная рыба стучится об лед
во рту у воды шевеля кислород
короткие звуки на шорох плывут
ты вряд ли сейчас скорей всего тут...*

*...я чувствую лед в потрясенной руке
пока города шелестят вдалеке...*

«Полифем» — молодое издательство. Слишком мало издано книг, все они неоднородны. Неуверенна и редакторская работа. Из трех выпущенных книг ни одна не стала идеальной. Исчерпывающе раскрывающей читателю настоящего автора. Хорошая редакторская работа — определенная оптика, благодаря которой, перешагнув через все лишнее, предстает автор без примесей и шелухи. В «Полифеме», увы, пока что этого случилось. Только новые имена и стартовый трамплин для них в виде первой книги, от которой они могут оттолкнуться. И одновременно фиксация вполне зрелых, известных поэтов, до сих пор остававшихся без книги.

Что касается выбора авторов — тут все концептуально, но неровно. Владислав Семенцул и обещанный Артем Быков — вполне состоявшиеся серьезные поэты. Хотя к книге Семенцула можно придраться именно по части редакторской работы: книга получилась не цельной, распадающейся на части. Егана Джаббарова начала по-настоящему раскрываться уже после не вполне удачной первой книги, но ее новые тексты остались за пределами дебютной книги. Книга Алек-

сандра Смирнова стала самым слабым звеном для начинающего издательства. В «Застывшей местности» едва ли наберется пять сильных текстов.

Сергей Сигерсон

Тетрадки под дождем

Три номера журнала «Здесь» (Екатеринбург, 2015) шевелились рядом в дружеских руках, радовали глаз своей самодельностью. Странички обычной принтерписи, одетые в минималистичные обложки с репродукциями кусочков школьных тетрадок по геометрии. Ни времени, ни места выхода не обозначено. Прочие признаки печатного издания (тираж, редколлегия, т. п.) тоже отсутствовали. Вручающий мне для прочтения всё это богатство был совершенно уверен в почти полной анонимности создателей. Даже акцентировал видимое ноавторство.

На первый взгляд так оно и было. При прыжке в глубины картинка сильно изменилась. Это не было алисино погружение в неведомые миры, кроличьи норы, зазеркалья, где каждая новая встреча хотя и неожиданна, но таит в себе массу новых интересных открытий. Скорее походило на погружение в заболотистую топкую местность, откуда вытянуть себя можно только за хвостик здравой мысли. Своей собственной — ибо других вокруг почти не заметно.

Долгое время самым жидким, невнятным, непролазным автором на российских околопоэтических просторах считался (заслуженно) Виктор Хлебников, гордо звавший себя (незаслуженно) Велимиром. Хотелось бы поглядеть, как он велит (ну, не миру, хотя б болонке какой)... Особенно тягучие качества чемпиона лепета были заметны в почти цирковом дуэте с кидаящимся ёмким словом метким задирой Алексеем Кручёных.

С конца XX века роль принца невнятицы пытался играть возникший среди панк-

Так что пока «Полифем» — еще только обещание крутого поэтического издательства. Сбудутся ли эти обещания и оправдаются ли надежды — покажет время.

скоморохов екатеринбургских «Картинников» да ОМУТа (Общество Малосознательных Учеников Тредьяковского) Сандро Мокша. Трагически-загадочные обстоятельства гибели окончательно закрепили за ним статус легенды авангарда, весомо-грубо-зримо зафиксированный недавней книжкой Мокши в московской «Гилее». Если среди блужданий по хлебниковской хляби читатель изредка (неожиданно) всё же набредал на полянки острых мыслей либо цветы ярких образов, то мокшино болото более цельно, тотально, гибельно. И не надейтесь! Вот такую цельную личность создатели журнала «Здесь» выбирают проводником в неустойчивый, зыбкий культурный мир. Демонстративно открывают мокшинской подборкой творческий раздел первого же номера. И в дальнейшем не сбиваются с намеченного пути.

Ноавторство оказалось лишь видимостью, вызванной особенностями распечатки, где тексты то почти сливаются друг с другом, то вдруг расступаются почтительно перед заполненным пустотой (прямо посреди текста) пространством. Переходы от текста к тексту неявны, в них теряются и старательно проставленные авторские имена. Если даже авторы кокетливо обозначаются инициалами (Р. К., Е. К., т. п.), то тут же в текстах величают друг дружку не токмо по имени, но и по отчеству. Никак иначе нельзя. С превеликой трепетностью относятся они к любому своему изречению, слову, мысли (если это можно так назвать), оттого заполняются целые страницы многозначительными: «Нууу... эээ... аа... ааа... ммм... да... даааа... Ну, щас...

Ну, короче... Вот, ну, я... Ну, не знаю...» Это не утрирование, а цитаты! Из разных мастеров слова в разных номерах данного высоколитературного издания. Тут уж читателю с трудом понятно, чем конкретный Ваня (Маня) отличается от Васи (Люси). Ничего, писатели и это сделают за нас. Треть третьего номера посвящается детальнейшему разбору своих собственных стиховых откровений, с приведением всех «уничтоженных» (!) предыдущих вариантов текста, указанием, откуда взято какое слово, особенно если оно винтажно (типа «краундфандинг»), с выдержками из уважаемых учителей-предтеч, с обещанием: «К саморасхваливанию ещё вернусь — на примере второй части, тоже неудачной, но более близкой к попаданию».

Первую треть третьего номера занимает стенограмма писательского собрания молодёжи, удивительно напоминающая пафосностью да административной деловитостью сборища пронырливых старцев из советского Союза Писак (лишь тема месткома-профкома почему-то не раскрыта). И это самое грустное. Молодёжная самовлюблённость, заикливание на себе — вещь преходящая. Внимание в слову (настоящее внимание, когда избавляешься от лишнего) тоже может прийти в ходе творческой деятельности. Было бы творчество. Но когда у деятелей вполне осознанно выбран за образец номенклатурный «совок», понимаешь, что самиздат здесь не оттого, что творческая энергия бурлит, желает выразиться по-своему в нестандартных формах. А потому, что на «сурьёзную» типографию ещё нет денег. Тетрадки текстов треплются под дождём сожаления.

В этой топи сложно (и скушшно) блуждать от «Нууу...» до «краундфандинга», от матерного диалога до полуофициозной стенограммы съезда. Здесь лишь неленивые да любопытные выловят частички творчества. Не отягощённые щепетильностью знакомые музыканты на вопрос о главном впечатлении после общего знакомства с журналом ответили просто: «херовый» (производя слово от английского написания «здесь» — «here»). Даже немудрёные детские стихи-рассказы (либо стилизации под них) воспринимаются — по контрасту — ярким событием. Есть и действительно интересные тексты. Например, у Сергея Сдобнова: «Сначала было лицо, иногда его не было, но когда всё же оно было, по нему полз нос... Бывает, в Нос приходят мысли, и их надо думать, почти все они такие: Что я знаю о запахе Носа? Есть ли другие Носы? Почему Нос здесь? Иногда запахи не приходят очень долго, и Нос не уверен в себе». У Михаила Хабурдина: «Ноты сбиваются со следов, как пьяные комары, смыслы съедобны саранчачами букв, свет протух по своим краям. Зажигается внутри фонаря безвкусная сигарета... Всё это кратко попыткам сведения бухгалтерии улиц к общим знаменателям возвращений в дома дверей, закупоренных светом дымящих ламп». А вот Варвара Абашева: «У льва было имя — Бажов. Лев Бажов съел ёжика Пушкина. А два яблока, которые купил Пушкин, снова съели те же самые лошадки». И на десерт — из неё же: «Потом облако проглотило свой язык. Потому что говорило целиком. Целиком — это значит цело говорило, цело-прецело».

Сергей Ивкин

«Только для своих»: манифестация вкуса

В личной беседе издатель и составитель серии книг «Только для своих» Александр Петрушкин сказал, что единственным кри-

терием отбора авторов и текстов является его собственный вкус, других причин издавать эти стихи нет: «чем больше в этом мире

будет того, что ему дорого, тем меньше места останется для того, что ему видится случайным и лишним». Таким образом, для меня эти книги лишены какой-либо политики, я имею полное право говорить о них исключительно как читатель.

Книга 00. Наталия Черных. «Четырнадцать»

Можно ли, следуя за Франциском Ассизским, проповедовать цветам и птицам? Речь будет построена по-другому. Потому что ищешь не человеческого внимания и понимания, а собственного прозрения. Такая речь состоит из восклицаний и одёргиваний себя, из страха зайти слишком далеко и открытия всех найденных амфор Пандоры. Именно к одинокой проповеди пришла Наталия Черных в книге «Четырнадцать». У этих стихов нет адресата, они пугают и напрягают, словно подсматриваешь то, что тебе не просто запрещено, а опасно видеть. И именно потому эта книга требует глубокого проживания, сопереживания, осознания всего подсмотренного-подслушанного. Слух и зрение в ней крепко сплетены, вообще не встречается логических умозаключений, только снятые и напрямую брошенные на бумагу чувства.

Отсутствие оценки происходящего, констатация произошедшего через читателя доводит некоторые тексты этой книги до величественных панорам, где Босх, Брейгель, Кранах и Пикассо становятся неразделимы. От «После Освенцима» до «Купания монахинь» тянется нить существования в теле. От «Удайпура» до «Моей оды к радости» — нить существования душой. Это документальная поэзия, русские «Записки у изголовья», где изящество речи — не жест, а устройство голоса. И именно тексты о пении позволяют заглянуть за изнанку произносимого: для цветов и птиц проповедь не говорится, поётся.

*А (душа) надевает полукотурны,
румянит лицо поверх бледной маски,
выходит, являя бельканто.*

*Унизительно. Проклято и вождедено.
Как единственно верное слово,
как матери слово.
(Итальянская опера в пейзаже)*

Книга 01. Александр Петрушкин. «Подробности»

Вы никогда не видели, как впервые говорит со священником человек, долгое время от церкви отстранённый? Его речь через смущение и признательность мешает обычные слова с внезапно вырванными из глубин памяти книжными архаизмами, словно он говорит не с таким же живым человеком, а с воплощением всей той ушедшей вслед за Китежем культуры, которая только для говорящего в данный мир единоразово всплыла, и в эту встречу необходимо вдохнуть всё собранное-постигнутое. Возможно, вы сами так говорили. Упрямо, последовательно, убеждённо, и совершенно невыносимо для слушающих со стороны. При такой речи вашим собеседником должна допускаться презумпция осмысленности, без неё диалогу никогда не состояться. Поэзия Александра Петрушкина исповедальна, но он рассказывает не о грехе, а о чуде, о невыносимости жить с этим знанием, о необратимости такой жизни.

*Есть три молитвы у меня:
одна из них, как гроздь — вина,
вторая — где благодарю
за данный стыд мне и вину,
и третья — радостна, как горе,
невероятная, как смерть,
звонит ключом твоих присутствий
и отпирает неба ветвь.*

Что делает тот, кто увидел нечто, идущее вразрез с общепринятым? Он собирает свидетельства у других, смотрит существующие термины в речи тех, кто соприкоснулся с чудом ранее его. При прохождении стихотворений Александра Петрушкина человек, обладающий высоким уровнем начитанности, радостно узнает любимые строки из Юрия Казарина, Виталия Кальпиди, Андрея Санни-

кова или Романа Тягунова. Но Александр не имитирует чужую речь, при составлении карты собственного мира он помечает все места, посещённые ранее теми, кого он любит и ценит. Частично именно из этой любви он и начал это смертельное, но захватывающее путешествие по ту сторону речи, где смысл не прочитывается, а срисовывается в память, чтобы впоследствии каждый, раскрывший флакон стихотворения, мог бы увидеть отдельный мираж с медленно в полумраке растёгивающей воротник женщиной, с сидящими на берегу рыбаками, книгой греческих мифов, картинки в которой шевелятся, с зависшим в воздухе снегом и колышущимися, словно занавески, стенами домов. И ещё Александр придумал не бояться смерти, он решил, что уже мёртв, его тело не существенно, потому все истории рассказываются от лица души, которой ничего не страшно: всё уже произошло. И разговор со священником неожиданно перетекает в другой, более важный и единственный Разговор.

*так водомерка может оторваться
от отражения слепого своего
оставив лапки — только и всего.*

(Водомерка. Евгению Туренко)

Книга 03. Вадим Балабан. «Нулевая палата»

У японцев есть понятие «моно-но аварэ», примерно переводимое «как красота увядания вещей». Стихотворения Вадима Балабана мне представляются как побитые временем предметы, части интерьеров или объекты в пейзаже, вроде треснувшего валуна у дороги. То есть ты к ним приближаешься, и у тебя начинают проявляться поверх твоей памяти некоторые диалоги, сюжеты, ощущения, до встречи с этими стихами отсутствовавшие. Например, зеркало с осыпавшейся амальгамой в створке расколотого шкафа бубнит шёпотом:

*каждое утро мне птица вонзает в слух
свой щебень и я просыпаюсь в двух*

*местах одновременно на скомканной
простыне
вижу комнату и тебя на золотом слоне
у океана / чёрные облака
заслоняют в зеркале двойника...
(отклонись на 10 градусов 10 лет)*

Мир умирает каждое мгновение. Мы сами умираем каждую минуту, похожие на яблоню, с которой с одинаковой периодичностью один за другим облетают листья. И так страшно от такой монотонности, что хочется сорвать все листья разом, оборвать вместе с ветками. Но что-то удерживает, и, заныкав бурю поглубже, ты сидишь и считаешь: пять тысяч восьмой, пять тысяч девятый... Должен быть же какой-то противовес наблюдаемому? Да, вот эти стихи.

*а помнишь как в 16-м году
ещё не жили но уже умели
и клёны жгли прохожих на виду
потрескивая день ему шумели*

*и чердаки с подвалами текли
по боковому зренью из природы
где собирались пыльные тюки
всех опытов накопленных за годы*

*и годы/ ты печальная на треть
и изначально в женственности смуглой
привык тебя по памяти смотреть
не покидая комнаты со стулом.*

А сейчас непосредственно по текстам. Чтобы читать Вадима, не нужно становиться Вадимом. Не нужно пытаться подключиться к его эмоции, узнавать что-либо о нём. Больше всего стихотворения Вадима Балабана напоминают комментарии к китайской «Книге перемен» или «прорицания» Нострадамуса, которые указывают определённые связи в мире. Представьте вышивку с обратной стороны, где лицевой узор выглядит серией цветных узелков. Вот такие узелки Вадим Балабан находит и записывает. Чтобы хотя бы узелки сохранились.

Книга 05. Владислав Семенцул. «Трубка полного снега для быстрого бега»

Когда человек действительно талантлив, невозможно отличить, где он живёт, а где придумывается. Владислав Семенцул талантлив невероятно, до того, что ощущается, как некие идеи управляют его жизнью поверх разума и элементарной осмотрительности. Но ведь прокатывает почему-то. И стихи написаны против всех мыслимых и немыслимых правил, а держатся, дышат.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ВЕРА

*я верю только
в Чапаева
яблоки Антонова
и в лампочку
которая загорается над головами
собак
да будет так!*

Существовали когда-то чинари-обэриуты, превращали собственные жизни в произведения искусства, вплавились маленькими звёздочками в дюраль Эпохи большой нелюбви. Очень просто принять творчество Артёма Быкова и Владислава Семенцула за неуклюжую кальку блистательной игры Александра Введенского и Даниила Хармса. Но нет. После ОБЭРИУ были и Сапгир с Холиным, и Олег Григорьев, и другие святые фрики. Сейчас эти, из УПШ. Вячеслав Бутусов пел: «Воздух выдержит только тех, кто верит в себя». Владислав, похоже, верит. Верит настолько, что способен ходить по воздуху. Во всяком случае, его стихи висят в пространстве, игнорируя гравитацию всякой логики.

Книга 06. Янис Грантс. «Коньюктивит»

Кем только Яниса Грантса ни называли (от сыночка Хармса до Уральского Тарантино), к какой только традиции ни приписывали.

Андрей Санников, напротив, отмежевал его от УПШ, сказав, что Янис мог возникнуть на любой точке Земшара, хоть в Африке, хоть на Земле принцессы Елизаветы, потому что суть этого поэта в заражении тоскующего моремана мировой культурой, без привязки к конкретной малой родине. И когда читаешь у Яниса самое обычное бытовое стихотворение, внезапно обнаруживаешь в нём крылатое латинское выражение «Dura lex, sed lex» (Закон суров, но это закон):

*день промок.
и ты промок,
добираясь вплавь.
закрывайся на замок.
сковородку ставь.
жарь яичницу из трёх.
кофе заваргань.
(просто дура! дура, Лёх!
дура, а не дрянь!)*

*ты излечишься (тик-так).
справишься (тик-так).*

*только это всё не так,
даже если так.
(тик-так)*

А когда Янис говорит о конкретном поэте, получается, что говорит обо всех поэтах сразу, об архетипе человека-ангела (рядом форточка Пастернака и птичий профиль Мандельштама):

*через форточку — надёжней,
ибо — нараспах.
там и млечный путь проложен
в нескольких местах.*

*без квитанций и таможен
сразу — за кордон.
если что, то ждёт в прихожей
кепка вверх гнездом.*

(Евгению Туренко)

Такое ощущение, что стихотворения Яниса Грантса сразу существовали в учебниках будущего и к нам попали случайно

с зазевавшимся путешественником во времени, замкнули петлю. Не верится, что эти стихи можно написать. Стихи как бы самозародились, а поэт может и не быть.

Книга 07. Дмитрий Машарыгин. «Всё проще»

В личной беседе Дмитрий Машарыгин мне сказал, что его стихи без него существовать не смогут. Они живут лишь в момент прочтения, как музыка, слетающая с пальцев гитариста. И книга — тот же диск, сохраняющий прежде всего голос. Не партитура, а непосредственное исполнение автором. Помню, что я возмущался, пытаюсь донести, что каждый читатель видит свой собственный текст, мы только задаём направление его мысли. И вот я читаю книгу Дмитрия и понимаю, что не в силах избавиться от его интонации, темпа, характерных пауз, всё пропитано невозможностью вариации. Дмитрий Машарыгин — это такой анти-Грантс. Если Янис — сверхновая, то Дмитрий — чёрная дыра, всасывающая в себя весь окружающий мир, не заимствующая, а собирающая собственную сверхплотность.

*хорошо отрезать тебе хлеб
хорошо из нережущих рук
вынимать человеческий свет
выговаривать яви вокруг*

*что за счастье во тьме говорить
что одни только губы не вслух
всё отчётливее твои —
тьнь земная конечный звук*

*я смотрю на тебя из любви
как бы голос в значении всём
чем быть мог бы и дальше живым
чем быть мог бы до тьмы голосов
(хорошо отрезать тебе хлеб)*

Явно видно сквозь сплетение многих вещей деформированное под большим давлением стихотворение Андрея Санникова:

*Мне снится медленный сон.
Мне снится пористый стол.
И поднимается пар
из шевелящихся пор.*

*И для меня на столе
ты режешь каменный хлеб.
И из порезанных рук
сочится круглая ртуть.*

Ещё пример втянутой речи:

*Карандаши. Страна Россия.
Я только слово напишу.
Всё будто непроизносимо.
Всё будто бы произношу.
Карандаши. Страна Россия.
Как слово Смерть
Как слово Жизнь Любовь по силам
Как Сверх*

Видно начало стихотворения Романа Тягунова:

*Я никогда не напишу
О том, как я люблю Россию.
Мне этой строчки не осилить,
Тем более — карандашу.*

При этом я подчёркиваю, что стихи Дмитрия — не плагиат, а некоторое алхимическое делание. Опять же проведём линию к Янису Грантсу: Янис взрывается, превращается в скрещивающиеся ветра, гонимые по всей атмосфере, а Дмитрий, напротив, пытается собрать себя заново, скрепив чужую пыль, сваять себя из существовавшей красоты, превратиться в концентрат всего поэтического на его вкус. Станет ли итоговый «философский камень» уникальным? Возможно, позже, сейчас же один из самых ярких текстов в книге всё-таки продолжает звенеть Леонидом Губановым:

*Снег в Господних лесах, словно снег
в сентябре,
ночь одна — сумасшедшая, лишняя
чтобы руки горели и снег в них горел
я горю, исчезая, по личному*

делу — такому же, как рождество,
то есть чуду — и чуда исходнику
меловая ненужность как женский живот
либо голое тело господнее

Это ветер и в ветре чужая трава
всё, чему есть касание, сходится
До пределов своих и любви торжества
сумасшедшего тела господнего

воздух, свет и покой — никого нет, меня
нет, тебя нет — так плятит огромное
восходящее в руки как тело одна
рука сонм частиц — белое облако

по всему горизонту так быстро что нимб
разгоняется до разговорного
языка не людей, но до всех остальных
языков вне возможности воздуха
(Снег в Господних лесах)

Книга 13. Сергей Ивкин. «Голая книга»

Как говорит Львёнок Черепaxe в советском мультфильме: «Не могу же я петь песню сам про себя», так и я не могу давать оценку собственной книге. Сообщу важное: у неё было два редактора, к Александру Петрушкину присоединился пермский поэт Андрей Мансветов, а я пошёл на эксперимент, позволил порезать тексты, так как сам работал с начинающими авторами, отказаться от себя состоявшегося. Большую часть материала для несостоявшейся книги «Мне страшно, Мартин» ещё до Александра с Андреем порезала екатеринбургский поэт Екатерина Симонова. В итоге получился предельный концентрат, менее музыкальный, более зрительный. Читать его нужно шёпотом, беречь связи.

в сумерках тело становится цвета бумаги
библии Гутенберга

чтобы любить тебя
надо отказаться от человека
ждать а не желать

избранные места
наизусть

Книга 16. Андрей Тавров. «Снежный солдат: книга стихотворений в прозе»

Что делает прозу стихотворением? Ошеломление! Чудо стихотворения в неполном считывании, часть смыслов подменяется красотой дыхания, изяществом графики, утончённостью описания. Лишите текст всех формальных признаков стихотворения, но насытите его сопутствующими темнотами и красотами, чтобы погружаться в такой текст, словно в пронизанную солнцем воду, чтобы плыть в нём, следя за пузырьками, разбегающимися от твоих собственных жабр. Мой учитель Андрей Саников говорил, что хорошее стихотворение меняет человека, что-то перепрошивает в нём. Андрей Тавров пишет свои суггестивные «вирусы для сознания» ради такой перепрошивки. И проплывая книгу насквозь, начинаешь складывать истинный смысл этих писем:

Все ваши судьбы записал я на коже моей
изнутри золотыми чернилами. Крикну
от боли
— и нет судьбы, а взамен — другая запись,
про девочку эллу, про короб света.
Про друга да про
отца моего — бога вашего, вами убитого,
дождем, как землей, засыпанного.
(Лебедь)

Лев твой внутри и снаружи, но запомни,
что внутри важнее, чем снаружи, потому
что главное мира расположено у тебя
под кожей, неважно, лев это, бабочка
или женщина — все это ты сам, и нет
в час льва двоих или троих, и нет команды
или корабля, но лев это и есть
ты и женщина, и ее горячее чрево, тебя
рождающее под вопли кошек и хрип
Левифана, под
смерд умершего на чердаке бродяги, чей
язык уже жрут черви, а в лифте
стоит его смердный

*двойник, не давая живым забыть
о том, куда идет их тело, влача за собой
истощенную душу.
Все главное жидетса под кожей твоей.*
(Лев)

*Не соединиться людям снаружи ни
у Фермопил, ни под Сталинградом,
ни в Василии
Блаженном. Только внутри — общая
подкова, сосна и тень на дороге.
Внутри — дождь
над поющей рекой, там же — Престолы
и Начала.
Иди внутрь. Телесный огонь станет
огненным телом — сияньем Габриэля,
колечком
на утином горле, а ноги станут следами,
а руки касаниями, а череп вмятиной
на подушке. Тем, чем был изначально.*
(Пастухи)

Андрей Тавров возвращает своим читателям счастье мифологического сознания, когда каждая вещь обретает оборотную сторону:

*Та сторона есть у голоса, ветра, яблока,
слова, некоторых (о, не всех!) стихотворений.
У всего живого.*
(Видеть чайку)

А как только ты откроешь эту оборотную сторону, так поймешь, что с оборотной стороны все вещи связаны. Останется только попросить самого себя вспомнить пароль в духовный интернет.

Книга 18. Нина Александрова. «В норе»

В Екатеринбурге есть студия художников, куда каждую субботу приглашают какого-нибудь поэта, чтобы тот полтора часа читал стихи, а за это время его будут рисовать. Но не академически, а свои впечатления от него и его стихов. Когда пришла очередь Нины Александровой, художники неожиданно оживились: «Ваши стихи такие зрелищные,

яркие, чувственные, живые. У остальных лирика мрачная, тяжёлая, холодная, а ваша дышит счастьем и нежностью». «Это потому, — ответила Нина, — что все мои стихи исключительно о Смерти».

Нина Александрова скорее пишет философско-мифологические трактаты, ужатые до формы стихотворения, чем шлейф собственной жизни. Её тексты — результат долгих духовных исканий в областях потусторонних. Даже редкая для Нины любовная лирика больше рассказывает о метафизических сквозняках, которые вызывает нестабильная человеческая привязанность, чем собственно о происходящем между людьми.

В некотором роде Нина осуществила мечту Андрея Дмитриева, потому что написала тексты для «священнодействия посреди бубонной чумы». Начни их произносить вслух, и ритуал образуется сам собой.

ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ

*бьются звери в руках
щука в моих висках*

*справа бобер
слева горностаи*

*имя твое оберег
спрячь его в кулаке*

*не учуют следов
мы пойдем по воде*

*шепчутся и кричат
ангелы у плеча*

*здесь бояться нельзя
не закрывай глаза*

Книга 20. Кирилл Новиков. «дк строителей / и / пиво крым / и / младенец воды»

Главным открытием серии для меня стал Кирилл Новиков. Маститых авторов я давно

знаю и люблю, незнакомые принимались с опаской. Кирилл же шумно прошёл в комнату моей головы, повесил на гвоздь в стене куртку, рухнул в кресло, вытянул ноги и заговорил. Будто мы с ним были знакомы не один десяток лет. Я согласен с тем, что Кирилл соотносит с лианозовцами, но он пришёл к сходству не из подражания, а из сходной стратегии выживания. В этих стихах несказанного гораздо больше, чем выявленного. Они насквозь состоят из эллипсов, из намёков и покачиваний головой, киваний. Кирилл не рассказывает, не удивляет, не самовыражается, он разламывает некоторое осознание, словно хлеб, и половину протягивает читателю. Такой поэтический Чехов, дающий тебе одну-две детали, за которыми ты сам всё допишешь, согласишься.

ХОББИ

*Смотрю на неё,
спрашиваю:
«А ты, перед тем как написать
что-нибудь хорошее,
читаешь что-нибудь хорошее?»
Она смотрит на меня
с плохо скрываемым презрением
(видимо, я не первый, кто задаёт ей
такой вопрос)*

*и отвечает:
«А ты, когда съешь что-то вкусное,
будешь срать пирожными?»
Она всегда придумывает дурацкие
сравнения.
Я не знаю, что отвечать на такие вопросы,
и говорю:
«Я тебя полюбил за слова в твоих стихах».
«Это, — говорит она, — хобби,
а на жизнь я зарабатываю тем,
что е***ь за деньги».*

*Когда шёл от неё —
купил хлеба.*

Для Кирилла верлибр — не самоцель, просто школьные правила в таком диалоге только мешают, тем более — когда поэзия остаётся и без них. Думаю, Кирилл мог бы

создавать изящные музыкальные вещи, но точность для него важнее красоты звучания.

НЕЖНОСТЬ

*иногда накатывает нежность
какой-то необъяснимый трепет
и хочется ласкать тебя
комбинациями соответствующих друг
другу
по смысловой нагрузке и звучанию
слов*

*и ты принимаешь эти слова
они, как тёплая вода из душа
и как потоки горячего воздуха
откуда-то снизу
заклучают тебя в светлую оболочку*

*и ты позволяешь в такие моменты
трогать тебя руками
ты просишь меня об этом
но с этим нельзя торопиться
ибо, как только я притронусь к тебе
нежность перестанет нарастать
оболочка вокруг тебя потускнеет
и слова станут такими же бесполезными
как те, что подбираются
исключительно для рифмы*

Книга 21. Аркадий Застырец. «День шестой»

Не так важно, Александр Петрушкин или сам автор собирали это маленькое избранное, получилось оно полной противоположностью тому изящному язвительному Дон Кихоту, которого я знаю. «День шестой» — книга усталого мастера, нелюбимого и обидчивого Микеланджело, она серьёзна, хороша и печальна. Даже когда читаешь её с монитора, блазнится, что белые страницы подвергаются фотофильтру старения, а египетский шрифт обрастает засечками, превращается в елизаветинский. Никакой игры на публику, одинокое говорение, понимание всего и вся.

Прежний Дон Кихот мелькает лишь однажды, на взрыве гомерической ярости, но быстро

возвращается в рамки сохранения своего рыцарского достоинства. В книге нет гарцевания, автор словно бы сошёл с коня и шагает по своей земле, говорит с людьми просто и искренне.

Однако такой искренности не существует без документальности, потому Аркадий Застырец плотно связывает свою речь с географией и историей малой родины, его конструктивистский Екатеринбург разрастается из нескольких строчек во все стороны, в прошлое и будущее одновременно. Экскурсы в культуру у Аркадия Застырца, эти сочинённые сокровища — такой антиэзоповский язык, который не якобы скрывает явное, а, напротив, привлекает невидимое, используя понятные его сверстникам и землякам имена, через которые поэт выживает тончайшие, незамечаемые связи, которых сам пугается, но глаза не отводит.

РОДЧЕНКО И ВАРВАРА. 1932

*С утра Варвара моется в тазу,
Отночевав, нагая, молодая...
А Родченко с искателем в глазу,
От всяческого голода страдая,
Её навек снимает в серебро,
Вослед недовведённому зачатью
Сует себе бликующей печатью
Тавро под угловатое ребро.*

*Под чёрной тенью Родченко руки,
Из-за наклона, в сущности, безличны,
В тазу вода, колени, позвонки
Революционно гелиографичны.*

*Но погоди! Всего лишь век иль миг
То утро неизбытое прострочит —
И, мокрая, в тазу Варвара вскочит
И схватит, хохоча, со смертью стык.*

Книга 22. Андрей Санников. «Мирись. Прощайся»

На обложке книги «Мирись. Прощайся» написано, что в этих стихотворениях важным является состояние крайней экзальтированности и (по этой причине) неразличение правил «хорошей поэзии». В личной беседе Андрей Сан-

ников рассказывал, что ему важно сохранять стихотворения-коробочки: несколько загибов картона, пара скрепок. Главное — жизнь, а стихи просто фиксируют важное. Начнёшь что-то улучшать — исчезнет присутствие, невероятность, картинка потускнеет.

*сказал мне врач с иглой во рту
«стоят у входа в темноту*

*у входа в эту темноту
(вон в ту)*

*12 гипсовых берёз,
у каждой остеопороз*

*ведь кто-то их же посадил
оштукатурил побелил*

*наклеил листья на клею
(тебе налить тебе налью)*

*и каждая берёза др***т»
а умирающий хохочет*

он знает воздух но не хочет

Да, — он же качает головой, — стихи выше жизни. Но ведь надо же иногда себе сказать, что ты не красуешься, ты — именно такой, каким вырос, воспитался, вытерся о стены, углы. Данная книга сложилась из намеренных стихов-нестихов, из мычания, стога, сдерживаемой брани.

*Не надо больше никаких стихов.
Ты не имеешь никакого права
безбожно и, не понимая слов,
записывать и точку ставить справа.*

*Я говорю всё это не тебе
и не себе, а собственному горю,
своей неполучившейся судьбе.
Вот, собственно, и всё. А я не спорю.*

А размещённый под одной обложкой со стихами интернет-дневник — зеркальное отражение, «та сторона», второе лёгкое, вторая колонка для стереоэффекта. Стихи

объяснять бессмысленно, но дать им необходимый эмоциональный фон — впустить читателя в собственный сад расходящихся тропов. Андрей Санников — изобретатель. Сейчас вот изобрёл стереокнигу.

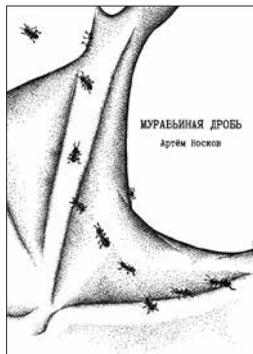
*Тащит меня и тарашит, подбрасывает,
катит, как по асфальту жестяную
полумятую
банку предгрозовым пыльным ветрищем —
дождь сейчас ударит по лицам, как оспа.*

*Стихи начнутся. Не хочу, не надо,
отстаньте, не надо стихов! Опять!
Говорят со всех
сторон одновременно. Голоса и голоса,
голоса!*

*Как будто с новой женщиной в первый раз
в постель ложишься и она хочет тебя
больше, чем ты её.
(Понедельник. 19 июля. Тащит меня
и тарашит, подбрасывает)*

Пульс убежал в толпу

Артем Носков. *Муравьиная дробь*. — Пермь: Сенатор, 2016



Вторая книга Артёма Носкова отчётливо отличается от первой — «Рефракции». Стихотворения из первой книги я бы охарактеризовал так: тексты, которые вызвали у читателя эффект «понимания, близкого к полному», которые как бы содержали в себе следующую авторскую презумпцию: «я выстроил текст и знаю, чему тут удивляться и что тут понимать». Этого почти нет в «Муравьиной дроби». Об этом отсутствия и речь.

Конструкции теперь у Носкова стали почти не видны. Строки сузились, словам не приходится скрепляться с помощью тяжеловесных местоимений и союзов. Стихи больше не городские, Носков как будто почти отказался от города. Всё здесь похоже на детство, состоя-

щее из широких пространств, полных светящихся существ и предметов, подсвеченных воспоминаниями. Например, детские драгоценности: раскуроченные механизмы предложений, фантики из-под образов, пыльная память на высокой книжной полке. Например, жующий малиновую луну медведь, ангелы, едущие на вахту в Сибирь. Кто они? Образы, переплывающие друг друга.

Носков теперь погружён в себя, он вытягивает впечатление изнутри, выстраивая их в тексты. Ассоциации приходят и уходят. Слова пока что остаются. Субъект стихов — молодой человек, который чувствует ограничивающую избирательную силу своей памяти и доверяющий ей, при этом воспринимающий эти ограничения как форму для своих стихотворений. Он ищет баланс между формой и тем, что хочет высказать. Держится за кромку тающую. Носков остро ощущает, что может выглядеть в тексте для читателя как «живое воспоминание», а что нет, и умело этим пользуется. Память — главное теперь. Качества этой памяти: большое количество неопределённостей, неяс-

ностей, отличие себя сегодняшнего от себя бывшего (детского). Носкову-поэту, как я думаю, неясны причины происхождения вещей, событий. Никто не ответит, почему так. Даже стихотворение закончилось, а понять не успел — и не надо. Ощущения опережают образ (да ну!).

Мир в теперешних стихотворениях Носкова бережно разделяется на предметы и восприятия, а автор только намечает некоторые «точки сборки». Камешки по воде фонетики: воспоминания и так нецельны, бесцельны... Они распылятся, шаги слишком мелкие, будто твои следы стоят на месте/вместо тебя, а ты сам — впечатлительный ученик своей памяти, но она старше и внимательнее тебя.

Устройство некоторых стихотворений из «Муравьиной дроби» сходно, как мне кажется, со стихами из мандельштамовского «Камня».

*Это талые птицы у окон
твоих
Неизвестный сложили
маршрут.
Если ты этой ночью
подышишь на них,
То к рассвету они оживут.*

Два важных образа раннего Мандельштама: туманные печальные птицы и узор, оставляемый творцом. Неясность ощущения хрупка и беззащитна, и там, где у Носкова слова, уставшие от метра и собственных смыслов, отказываются складываться с другими в образы, там у меня возникает нежное недоумение, которое нужно преодолеть хотя бы для того, чтобы чуть-чуть воспринять ломкий мир.

Такая беззащитность прошлого заставляет воспом-

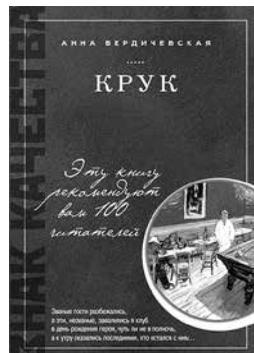
нить ещё и стихи Алексея Решетова. Память в стихах Решетова, правда, более линейна, но схожи стихи этих двух поэтов, по-моему, фиксацией процесса усиленного вспоминания того, от чего пишущий субъект не может отделаться: от слишком травмированного или, наоборот, слишком счастливого детства, от забывающихся запахов и окружающих мест, которым только и осталось, чтобы пробиваться сквозь слова стихотворений.

Я надеюсь, в будущем в стихах Носкова яснее станет видно доверчивое удивление неказистостью слов человеческих, лёгких и неловких, которые невечны хотя бы потому, что бумага бела, а сквозь неё — шум. Что мы слышим: муравьиною дрожью или дробью? А пульс — где-то в толпе, вне текстов Артёма Носкова. Теперь сердцебиение чувствуется из-под земли.

Руслан Комадей

КруК друзей

Анна Бердичевская. КруК. — М.: Эксмо, 2016



Книги и фильмы, в которых реальность и вымысел переплетаются самым причудливым образом, всегда обладают особым обаянием. В них по определению заложена интрига, и читатель вникает, пытаясь разобраться: вот этот персонаж — исторический? или вымышленный? или... вымышленный наполовину? А этот уютный

отель? Этот славный ресторанчик? Действительно ли отель стоит себе на берегу Женевского озера, а в ресторанчике ждёт посетителя приветливая хозяйка со сложной личной историей, или все они — плод воображения писателя?

К роману Анны Бердичевской «КруК» это соотношение относится в полной мере. У него есть вполне определённое время действия — 2002 год, вполне определённые локации — Москва и Женева, и среди персонажей есть по крайней мере один абсолютно невымышленный — петербургский поэт Сергей Вольф. Всё остальное находится в той самой плоскости полуфантазии, которая наделяет роман совершенно особенной

привлекательностью. Вроде и сюжет у него рыхлый, и фабула не особо увлекательная, и финал какой-то неопределённый — а читается и «забирает».

Если пытаться определить, о чём этот «КруК», то получится — обо всём: о поэзии, дружбе, научном прогрессе, путешествиях и, само собой, о любви и смерти. Ну, если очень постараться и всё же конкретизировать, то получится, что это — роман воспитания: главный герой, молодой предприниматель Кузьма Чанов, все вышеперечисленные предметы и сущности постигает и осваивает. Этот момент в жизни, когда кончается совсем уж молодость и наступает ранняя взрослость, воспроизводится в книге так остро

и лично, что читатель тоже переживает всё это — заново, если он принадлежит к поколению автора, или одновременно с героем, если принадлежит к его поколению. Чувствуется, что и отношение Анны Бердичевской к герою — тоже личное, какое-то материнское: недаром Чанов именуется детским, домашним именем Кусенька.

Прочие персонажи автора тоже небезразличны. Так получается, что в «Круке» собрались исключительно милые и симпатичные люди. Как на подбор. Да, собственно, почему «как»? Просто на подбор! Бердичевская же подбирала! Подобрала людей, с которыми ей было бы комфортно жить, путешествовать, застольничать... Получился круг друзей — людей разного возраста и разных национальностей, которые при всех различиях составляют эту личностную Утопию, Шамбалу, Касталию — территорию доверия, любви и вдохновения.

Точнее, не круг, а «КруК» друзей: компания собирается и формируется в «Круглосуточном Клубе», сокращённо «КруК», подвальчике где-то в арбатских переулках. Тут, между поэтическим вечером, карточной игрой, водкой и кофе, складывается компания, а вместе с ней и сюжет.

В этом «Круке» тоже, конечно, случаются эксцессы: так, Давид Дадашидзе по прозвищу Дада аж пытался с собой покончить, но потом обрёл просветление, на-

шёл веру и занял достойное место в реальности. Но в целом «КруК» живёт легче и гармоничнее, чем соотечественники и современники: не мается материальными проблемами — только экзистенциальными, легко преодолевает экономические и политические условности... Не заметно, чтобы герои где-то работали и что-то зарабатывали, но поехать в Швейцарию, не обращая особого внимания на визовые барьеры, и остановиться в отеле на озере могут не задумываясь, равно как и начать управлять арендованной машиной без всякого водительского опыта.

Каждый из членов «КруКа» имеет свою историю, свою личную вставную новеллу, а то и несколько. Особенно повезло с этим герою по имени Павел Асланян. Он — начинающий поэт, и имя с фамилией получил от пермских поэтов Юрия Асланьяна и Павла Чечёткина. Во всяком случае, именно стихи Чечёткина Бердичевская ему приписала. Родом Паша из... Чердыни. Эта Чердынь, как и весь «КруК», реальна лишь отчасти. Голубая башня, где собираются чердынские поэты, равно как и тайные тропы, ведущие к Полюду, прибыли в роман скорее из мечты, чем из реальности.

С Пашей Асланяном связана одна из самых драматичных вставных новелл — до слёз пробирающая история о том, как поэт поссорился с соседом по общежитию, чеченцем Булатом, из-за пре-

словутого национального вопроса и как потом помирился. В романе вообще много трогательных эпизодов, пробирающих до глубины души: Анна Бердичевская будто своей целью поставила доказать, что большинство людей по своей сути хорошие, достойные жалости, сочувствия и помощи.

Здесь необходимо сделать одно отступление. Помнится, как-то писатель Леонид Юзефович, кстати, не чужой человек Анне Бердичевской — у них есть прекрасная общая дочь, литературный критик Галина Юзефович, — сказал мне о том, чем отличается мужская литература от женской. По его мнению, женщины пишут о взаимоотношениях между людьми, а мужчины — о взаимоотношениях человека и истории. При этом писатель подчеркнул, что эта классификация — ни в коем случае не оценочная, одно не хуже другого. Просто разные вещи.

Так вот, по этой классификации «КруК» — абсолютно женская книга, не только потому, что отношения героев между собой и составляют её сюжет, но и потому, что отношение к ним автора — тоже существенно. Бердичевская вложила в текст так много личного, что в читателе тоже возникают какие-то личные эмоции, тем более что любой пермяк найдёт здесь немало знакомого.

Кроме всего прочего, «КруК» — это ещё и нечто вроде трэвеллога: в той части, где речь идёт о Швейцарии,

автор пользуется личным опытом путешественника. Роман приятно напоминает лучшие образцы этого жанра — например, «Колосса Марусийского» Генри Милле-

ра. Ну и, конечно, истинное наслаждение доставляют стихи, которых здесь множество, в первую очередь, стихи Сергея Вольфа. Актуализация памяти о поэте была одной

из целей написания этой книги, которая во многом вертится вокруг поэзии — и как литературы, и как стихии.

Юлия Баталина

Укол весны

Анатолий Субботин. *Беспризорное небо* (стихи 1979–2014). — Пермь: АС, 2015



Пока снегами безразличия привычно укрыто всё вокруг, мир предстаёт ровной, держащей на бесконечность равнение равниной. Мир гладкий, благостный, спокойный, самодовольный, не стремящийся к изменению. Вообще не стремящийся. Ни к чему. Понятно, что под снегом тепло, там можно переждать любые катаклизмы. Любые бури. Любые ветра. Тем более — поветрия. Лежишь берложно, осторожно подумываешь о большом, великом, величавом. Или интересном хотя бы. Конечно же, выпиваешь — как тут не выпивать! Обстановочка располагает:

*Я пил мороз, разжиженный
в кефир,
шаланды (как там?),
полные кефира...*

От жизни такой и пролежни возможны, и просидни, и проседи. Вылезти наружу, что ли? Пусть не так уютно, но — манит. Усидеть невозможно, улечься — тем более. Эх, ходу отсюда! Ход куда? Хоть куда! Словами тёплыми снег продышать. Взглядами острыми лёд пронзить. Зашуршало вокруг, зашевелилось, зазвучало. Забросить зрачок на небо, любопытно мир ощупывать:

*Кучевые кочевые облака.
Расползание небесного
белка.
Синеглазый одноглазый бог
ты мой,
ты смахнул бы набежавшее
бельмо.*

А нет — так сами смахнём! Чувствуется сил прилив, стремления обозначились, желания появились. Всякие. Журчат ручьи (крови в жилах), кричат грачи (новых мыслей), и тает снег (равнодушия), и сердце тает (не

таит ничего). Как это называется? Правильный ответ поступил из третьего ряда, вот от той девушки с лучистыми ясными глазами. И вон от того юноши с переднего края. И вот от той дамы, откуда-то сзади, с лукавым прищуром. И — ото всех! Имя этой колдуньи любому известно, не раздумывая, повторяется (каждый раз с новыми интонациями), потому как она вечна. Вечно молода. Вечно пьяна. Вечно ей есть дело до всех нас, даже тех, кто казался ненужным себе самому:

*Весна меня любовью уколола.
И сердце распустилось,
словно роза.
А прежде в организме было
голо,
как во саду, опавшем
от мороза.*

Пусть на сей раз конфузия вышла. И стар, и млад обошли. Поиск любви не увенчался. Будет другой. А если надо — и третий... Душа вскачь пошла, переходя с мелкого аллюра на крупную рысь. Голову на лихих поворотах,

кретно послужило материалом для конструирования книги. Это целый ряд статей, которые были опубликованы с 2008 по 2015 год, и особенно и интенсивно — с 2012-го по 2014-й, когда, судя по всему, совместный проект зародился и оформился в сотрудничество со вполне определенными творческими целями. Однако за книгой явно стоит напряженная работа по изучению современной поэзии, проведенная авторами задолго до указанного периода. Не приходится сомневаться, что мы имеем дело с профессионалами и монография выполнена на достойном научном уровне.

Объектом исследования в монографии становится книга стихов как культурный феномен. Обращаю внимание именно на его культурную артикулированность, которая всегда шире собственно литературной. И это не есть новаторский ход авторов: опыты изучения книги как таковой демонстрируют неизбежность комплексного анализа как ее плана содержания, так и плана формы. Не плана выражения — это сугубо литературоведческая работа, связанная с анализом художественного текста, а именно формы, к каковой относятся внетекстовые элементы книги и которая делает книгу произведением визуального искусства. Таким образом, литературоведческие методологии в разговорах о книгах должны несколько отступить (хотя вовсе не сдавать своих позиций), осво-

бодая пространство для искусствоведения. Не случайно исследование снабжено иллюстративным рядом, где фигурируют, как правило, обложки рассматриваемых изданий. Да и сами по себе обложки становятся объектом анализа. «Существенную роль играет так называемый полиреферентный план книги: оформление обложки, наличие/отсутствие фотографии автора, биографической справки, аннотации, эпиграфа, посвящения», — пишут в теоретической части авторы монографии. «Света Литвак выпустила в 2007 г. книгу стихотворений, представляющих читателю эволюцию ее творчества в период с 1980 г. по 2000 г. На белом фоне обложки — хаотичный рисунок, напоминающий детские каракули, выполненный цветными фломастерами или маркерами (рис. 3). В переплетении линий угадывается схематичная фигура человека с опущенной вниз правой рукой, возможно, пишущего сидя за столом. На задней стороне обложки книги тот же рисунок перевернут, теперь он напоминает фигуру утки или индюка. Тем самым уже обложка выявляет принцип палиндрома, характерный для экспериментов со словами в поэзии этого автора», — это уже пример конкретного анализа.

Однако комплексный подход к феномену книги, продемонстрированный на примере и обусловленный материалом и логикой исследования, не всегда в мо-

нографии проявляет себя, и неудивительно, раз поэтические книги анализировали только филологи — перекос в литературоведение изначально запрограммирован. Поэтому из исследования мы больше узнаем о художественных доминантах и поэтологических принципах тех или иных поэтов, чем о художественной целостности книг в равнозначности текстовых и внетекстовых элементов.

Тем не менее представленный здесь научный опыт интересен и ценен. В монографии — четыре раздела, каждый из которых задает проблемное поле в рамках изучения феномена: «Книга стихов: теория и история», «Структура стихотворных книг», «Книга в судьбе поэта», «Книга стихов в социокультурном контексте».

Сделаю несколько замечаний. Первое: теория в начальном разделе вполне убедительна, а вот история, как бы ни старались авторы, а они старались, начиная традицию с XVII в. и затем выписывая мощный Серебряный век, все же требует отдельного исследования, отдельной книги, создание которой может быть логическим продолжением монографии. Второе: в рамках части, где речь идет о структуре стихотворной книги, проанализированы функции заголовочного комплекса (заглавия книги, эпиграфа), сюжет, метасюжет и архитектоника, лиричность и эпичность, мотивы и субъект речи — в общем, по оглавлению

нию этой части можно изучать теорию литературы, ее основные термины и понятия, однако лично мне немного не хватило разговора о моделях внутреннего устройства поэтических книг. Есть ли какие-то общие для целого ряда книг элементы и устойчивые образования? Третье: биографическая часть рассматривает вариативный набор книг, имеющих значение для судьбы поэта, это дебютные, этапные и итоговые книги поэтов, лирические трилогии и рецептивные текстовые ансамбли, книги, изданные посмертно, книги-эпитафии — к данному набору, возможно, имело бы смысл приплюсовать единственные книги, когда авторы больше ничего не выпускали, книги малотиражные, но зачем-то издаваемые некоторыми поэтами, и даже с именами, книги-мистификации и т. д. Четвертое: часть про социокультурный контекст самая обширная и местами спорная. Например, никак не могу согласиться с тезисом Н. В. Барковской о значимости фигуры Бориса Поплавского для уральской поэзии. Ни для Бориса Рыжего, ориентированного на совсем другие образцы — от Бродского до советских поэтов, ни для Александра Вавилова, «внешне», возможно, и сюрреалиста, но в своих стихах напоминающего, скорее, опыты того же раннего Бродского, Поплавский не имел существенного значения. Он, скорее, значим для Руслана Комадея, но именно этот поэт в исследовании

никак не фигурирует, лишь единожды упоминается в качестве помогшего оформить книгу Ярославы Широковой «Картон». Но и это утверждение тоже вызывает некоторое смущение, ибо Комадей, надо отдать должное, полностью составил «Картон» (здесь было бы интересно посмотреть, как один поэт моделирует книгу другого), более того, Ярослава Широкова и ее поэзия — в широком смысле результат педагогической деятельности Комадея, от которого было воспринято очень многое, в том числе тематика детства и семейных отношений, о которой пишет исследователь.

Впрочем, критика моя носит очевидный сопроводительный характер и не затрагивает основ представленного труда, убедительно в своей целостности и в своем исполнении.

Другой вопрос, почему Россия и Беларусь? Почему эти страны заявлены в названии монографии и топографически заключают в себе феномен поэтической книги? И здесь ответа уже нет, точнее, он находится вне концептуальных рамок исследования. Потому что объединились литературоведы из соответствующих стран, а вовсе не потому что, как столило полагать, есть такой феномен: восточнославянская книга стихов, хотя авторы то и дело посматривают куда-то на юго-запад — в сторону Украины и даже Словакии.

На самом деле география здесь предельно широка: в

центре внимания исследователей оказываются книги стихотворений не только белорусских и уральских авторов, но Марии Степановой, Александра Кабанова, Веры Павловой, Юрия Гуголева, Андрея Родионова, Бориса Херсонского, Кати Капович, Линор Горалик, Елены Фанайловой, Комара и Меламида, Веры Полозковой и др. — я беру только современников, не останавливаясь на начале XX века, который, как уже говорилось выше, также весомо представлен. Разумеется, выбор той или иной книги и автора — дело субъективное. Именно этим объясняю такое существенное присутствие Марии Степановой и Веры Павловой и отсутствие других знаковых для современной поэзии фигур в монографии — от Михаила Айзенберга до, скажем, Геннадия Каневского, который показательно мыслит именно книгами и меняется от книги к книге. Этим же объясняю отсутствие интереса к проекту «ГУЛ», издательскому и культурегерскому одновременно, определенным образом моделирующему поле уральской поэзии.

Тем не менее география в книге имеет определенное значение. Сопоставляя Урал и Беларусь, Восток и Запад, филологи сшивают воедино пространство культуры и поэзии и одновременно децентрализуют его, лишают привычной сетки координат, что делает этот опыт уникальным и весьма полезным для понимания глубинных процессов, идущих

в современной поэзии и не всегда связанных со столицами. Перед нами особое видение поэтической ситуации и особая разметка культурного пространства, ценная тем, что являет уход от сложившихся стереотипов, в том числе гео-

графического и метагеографического порядка.

Остается поздравить авторов с серьезным почином, тем удивительным, что прерогатива изучения поэтических книг, казалось, отдана Омску, в какой-то степени

Твери, но уж точно не Минску и Екатеринбург. Ан нет, исследование свидетельствует о другом, равно как и о том, что всякое дерзание принесит науке только пользу.

Юлия Подлубнова

Найти пути миграции нефти

Семен Ваксман. *Охранник южного входа, или Пермская обитель.* — Пермь, 2014

Как говаривала одна незабвенная японская журналистка, «простите, что я прочитала Вашу книгу всего пять раз, и, конечно, всего сразу не поняла».

Возможно, вначале вам «Охранник южного входа, или Пермская обитель» не понравится. Я тоже никак не могла вчитаться. Очень уж разноголосой и разностилевой книга казалась. Да и главный герой — какие основания у него быть в центре повествования? Охранник южного входа — что это за должность такая? Что это за разговоры? Что это за язык непонятный? Где сюжет, наконец?

«Нефть на бортах погребенных барьерных рифов почти вся взята, идея великого Шершнева почти отработана. Нужна новая концепция.

— Парадигма!

— А без нее нефть не найдешь.

— Родиму нефть!

— Рвануть заряд, увидеть на ленточке вздрог —

вот все, что мне нужно для начала. Где-то здесь проходит Гданьско-Соликамский линеамент, рассекает Европу, чихает на Урал, уходит на Самотлор»...

То цеха, то толевые спецкнопки, то линеамент — полноте, да это спецлитература...

«Любефь, похожая на сон, и сердце рвется из кальсон! Ария Кармен: у любви, как у пташки крыльца! У люпфи как у бдашки рильца! Сердце, тебе не хочется покоя!»

То строчки из песенок, форменное издевательство. Но все эти эмоции были ровно до того момента, как удалось уловить интонацию автора — человека, который наблюдает уже не одно свое поколение на этой Земле, а два-три предыдущих и два-три последующих.

«Весна в Москве, цветной театральный воздух! Я шел куда глаза глядят, слушал и смотрел, качался в метро, прислонясь к стеклу, опускал глаза, разглядывал опускательки, выше, выше, ах,

какая ножка, какой лебедный изгиб ступни! Теперь поднять глаза — какое же лицо должно быть у этой ножки, у этого дивного изгиба ступни; смотреть, смотреть, оно уходит от тебя, это лицо, прищипанный олень-цветок, Хуа-Лу, Пай-хой, прекрасный изгиб Урала; смотреть в небо, просвеченное солнцем, видеть облачко с золотистой каемкой, подобной линии Бекке в поляризационном микроскопе, обволакивающей кварцевые зерна. Дымчатые облака медленно перетекали друг в друга, вытягивались, летели на разных уровнях в разные стороны. Хотелось думать о почтовых голубях, закрыть глаза и плыть по Самотеке, по Сретенке — дрожащей, малохольенькой, и встретиться в прощальной суматохе с забытым переулком Колокольниковым. Там внизу, на спуске со Сретенского холма, по Трубной площади когда-то текла речка Неглинка. Берег песчаный, не-



и ожиданием друга. Автор оказывается с Колей как-то на одной дорожке и успевает с ним поговорить — и какие бездны открываются в этом поэтическом разговоре:

« — А известно ли вам, уважаемые геологи, что в Земле нашей живут пришельцы?

— И где они там живут, пришельцы?

— Под самым океаном и живут.

— Под каким океаном?

— Под Тихим.

— И что же они там делают, под Тихим океаном?

— Они следят за нами, людьми.

— И как они за нами следят?

— Они следят за нами через телескоп.

— Какой телескоп?

— Тихий океан — это и есть ихний телескоп» (...)

Дальше там еще интереснее, но в итоге Коля тоже исчезает. В пермских лесах.

Разлом №3. Таня и Тамара.

Глава шестая, середина, центр всего произведения — «Слушайте, если хотите» — это чистый плач женщины

о жизни — начинается как подведение итогов в юбилейный вечер, и благодарности, а заканчивается как это обычно бывает — переходит в поднимание все тех же упрятанных «пластов» несбывшегося, недопережитого, непринятого, которые кто как не геолог-сейсмо-разведчик, опытным взглядом может вычленил в любой ситуации.

Таня — скрытая любовь рассказчика, «прыгание губы», чувство, не подвластное времени и обстоятельствам, вновь встреченная в Москве и там же оставленная:

«И ничего-то для меня не прошло, и ничего-то не зажило, имя ее, голос ее; лекции прошли, все домой ушли, только я брожу по этажам, видно, зря песенка моя, нет ее ни здесь, ни там...»

Тамара — жена сейсмографа, она же — сестра Степаныча. То, что Таня не рассказывает, изливает слезами и словами Тамара. Боль всей жизни концентрируется у нее в непутевом, пьющем сыне, и Степаныч успокаивает ее надеждой на исцеление — «курашимской клюквой».

В последней главе первой части отправляется вся честная мужская компания — Степаныч, автор и Миша, а также осиротевшая после пропажи Коли «пудель Лиза» — «по клюкву» — которой, впрочем, не находят, а последние страницы текста плавно перетекают в стихи. И было бы это странно, если бы не предупреждение автора в самом начале — эпи-

граф из Цветаевой: «Я никогда не поверю в прозу: ее нет (...) Да и какая может быть проза, когда мы все на вертящемся шаре, внутри которого — огонь!»

2.

Заговорила открытая Пермь старшего поколения городской интеллигенции, ходившей в свое время по тем же улицам, что и герои Ваксмана, по тем же книжным искавшая свою мечту — и соединилась с Перемью заводской, «протоновской» — закрытой, куда проникали и проникают только через проходные, засекреченной для остального населения, рождающей — в силу закрытости — притяжение — и мифы.

Герои второй части — «Пермской обители» — другие. Певец «Трех сестер» Чехов, глобалист Тревогин, мечтавший об «империи знаний», Пастернак, осевший в Перми в виде памятника работы Елены Мунц, «парнасский брат» Пушкин, но больше всего три сестры — как одна из сторон личности рассказчика, жившего в Москве и оказавшегося в «далекой земле», Пера маа, Перми — уже знакомые читателю Ваксмана по его «Путеводителю по Юрятину».

Потом снова — центр литературной жизни — Пушкин, вечно длящаяся для поэтов дуэль. Появляется Лермонтов. Дуэль. Чехов. Переплавляет дуэли в повесть «Дуэль».

Пласты дополняются линиями. Возникает некий литературный абстракционизм. Композиция №7 противостоит композиции №6, хотя, в сущности, они — об одном и том же. Но — рисунок разный, краски разные, линии — другие.

«Цвет — это клавиш; глаз — молоточек; душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно

приводит в вибрацию человеческую душу», — писал художник-абстракционист Василий Кандинский, и продолжает его в новой форме и в новых обстоятельствах Семен Ваксман:

«...там в самом конце есть мотив надежды — будто ручей выбегает из-под тающего ледника. Я внесу, выражаясь современным жаргоном, элемент шокинга. Это мы, нефтяники, виноваты в том, что происходит

с промышленностью. (...) Мы даже не развивающаяся страна, мы разваливающаяся страна. Вам осталась трудная нефть и очень трудная нефть...».

Это ли не современный нефтяной «Потоп», человеческое истощение — это ли не «Апокалипсис» Кандинского? Там, где вслед за разрушением происходит творение нового.

Ольга Роленгоф

Нина Горланова родилась в 1947 году в деревне Верх-Юг Чернушинского района Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского университета (1970). Печатается как прозаик с 1980 года. Многочисленные публикации в толстых журналах. Автор книг прозы: «Радуга каждый день» (1987), «Родные люди» (1990), «Вся Пермь» (1997), «Любовь в резиновых перчатках» (1999), «Дом со всеми неудобствами» (2000). Произведения переводились на английский, испанский, немецкий, польский, французский языки. Первая премия Международного конкурса женского прозы (1992), специальная премия американских университетов (1992), премии журналов «Урал» (1981), «Октябрь» (1992), «Новый мир» (1995), Пермской области (1996). Живет в Перми.

Вячеслав Запольских родился в Перми в 1958 году. Окончил филологический факультет Пермского университета. Печатался в журналах «Нева», «Урал», «Дружба народов». Автор книги «Планета имени шестого «б». Повести для детей» (Пермь, 1989). Живет в Перми.

Елена Ионова родилась в 1986 году в Нижнем Тагиле. Окончила Уральское училище прикладного искусства по специальности «дизайн среды», художественно-графический факультет НТГСПА. Член литературной студии «Ступени», арт-группы «Лаборатория событий». Публиковалась в альманахах «Эхо» (Нижний Тагил, 2005), «Ступени» (Нижний Тагил, 2007), «Поэтический марафон — 2005» (Екатеринбург), в сборнике «Игра» (Нижний Тагил, 2008), журнале «Урал». Участница «Антологии современной уральской поэзии» (Челябинск, 2011). Автор двух книг стихов. Живёт в Нижнем Тагиле.

Ян Кунтур родился в Перми в 1970 году. Окончил филологический факультет Пермского университета. Литератор, краевед, журналист, путешественник. Публиковался в сетевых изданиях «Мегалит», «Цирк «Олимп», «Литература», «Полутона», а также в журнале «Вещь». Автор книг «Пленники города» (Пермь, 2012), «Книга на краю жизни» (Будапешт, 2013). Живет в Будапеште.

Александр Самойлов родился в 1973 году в Челябинске. Окончил Литературный институт имени М. Горького (2003). Публиковался в газете «Уральская новь», поэтическом сборнике «Среда» (Челябинск, 1996), журналах «Урал» и «Знамя». Участник первого и третьего тома «Антологии современной уральской поэзии». Автор трех книг стихов: «Киргородок» (2011), «ГУЛ» (2014), «Маршрут 91» (2015). Живёт в Челябинске.

Сергей Сигерсон (настоящее имя Сергей Панин) родился в 1968 году в кубанской станице Воронежской. Детство провёл на Колымской трассе. Юность — в разъездах по стране, время от времени мечтая осесть то Петрограде, то в Одессе. Зрелость встретил в Перми, где основал арт-группу «ОДЕКАЛ». Печатался в газетах, журналах и сетевых изданиях от «Магаданского комсомольца» до нью-йоркского «Черновика», но предпочитает самиздат. Живет в Перми.

Любовь Соколова родилась в 1960 году в Перми. Окончила электротехнический факультет Пермского политехнического института (ныне ПНИПИ). Пятнадцать лет занималась спортивным туризмом, обошла СССР от Карпат до Колымы и Камчатки. Работала на заводах, преподавала в техникуме, с 1992 по 2002 год — корреспондент и выпускающий редактор в телекомпаниях Перми, сотрудничала с киностудией «Новый курс», училась и участвовала в проектах «Интервью». С 2003 по 2012 год работала в различных газетах Перми. Дважды лауреат журналистской премии им. Гайдара, а также дипломант и лауреат российских журналистских конкурсов и конкурса ПАСЕ. Первый рассказ опубликован в журнале «Аэропорт-Пермь» в 2012 году. В издательстве «Траектория» выходит дебютная книга прозы «Записки взрослой женщины». Живёт в Перми.

Анатолий Субботин родился в 1957 году в поселке Ныроб Чердынского района Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского университета (1980). Участник поэтических групп «Времери» (1977), «Политбюро» (1980-е), «Монарх» (1990-е). Стихи и рассказы публиковались в газетах «Молодая гвардия», «Дети stronция», журнале «Юность» (1997), сборниках «Самиздат века: Антология» (Минск — Москва, 1997), «Монарх» (Пермь, 1999), альманахе «Лабиринт» (Пермь, 2000). Автор книги стихов «Беспризорное небо» (Пермь, 2015). Живет в Перми.

Д. М. Шурф родился в Перми в 1967 году. Окончил Пермский авиационный техникум, работает по специальности на заводе. В 1992 году присоединился к арт-группе «ОДЕКАЛ». Печатался в альманахах, газетах, журналах (пермских, тверских, украинских). Много занимается самиздатом. Производит записи друзей-музыкантов в квартирных условиях. Живет в Перми.

Борис Эренбург родился на Алтае в 1958 году. Переехал в Пермь в возрасте 7 лет. Учился в Пермском университете на физическом и филологическом факультетах. В начале двухтысячных начал заниматься издательским делом. Автор поэтического сборника «Синдерелла» (Пермь, 2010) и монографии-альбома «Звериный стиль» (Пермь, 2014).

**Поддержка проекта была осуществлена
министерством культуры Пермского края**

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2016. — 134 стр.

Редактор:
Павел Чечёткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Издатель:
Борис Эренбург

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Вёрстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Николай Шилов

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com

- © «Вещь», 2016
- © Авторы, 2016
- © Издательство «Сенатор», 2016